

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*Ф. Я. Прийма (главный редактор),
Н. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,
Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,
М. К. Луконин, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов,
В. А. Рождественский, С. А. Рустам, А. А. Сурков,
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-заде*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

КОСТА ХЕТАГУРОВ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

*Вступительная статья,
составление,
подготовка текста и примечания
Нафи Джусойты*

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1976

Коста Хетагуров (1859—1906) — великий поэт осетинского народа, основоположник национальной литературы, выдающийся общественный деятель революционно-демократического мировоззрения. В настоящее издание включено все сколько-нибудь существенное из стихотворного наследия поэта. Разнообразные по жанру и манере стихотворения Коста Хетагурова приведены в наиболее удачных и близких к оригиналу переводах. Особый раздел книги составляют произведения поэта на русском языке.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.



КОСТА ХЕТАГУРОВ

Великий осетинский национальный поэт, основоположник осетинской художественной литературы и литературного языка — такими словами характеризуют обычно сущность творческого подвига Коста Хетагурова. Аттестация громкая и всеобъемлющая. И все же значение творческих свершений и человеческих деяний Коста Хетагурова в истории духовного развития осетинского народа гораздо шире и многообразней.

Коста Хетагуров положил начало новой, индивидуально-профессиональной традиции художественного творчества, создал высокие образцы осетинского литературного языка, поднял национальное самосознание осетинского народа на новую качественную ступень — от простого ощущения этнической общности до ясного понимания единства национальной и социально-исторической судьбы. Он дал своему народу новую идеологическую и психологическую ориентацию. Он выступил не только поэтом, но и прозаиком, драматургом и публицистом. Его пример послужил мощным побудительным стимулом к возникновению и тех видов искусства, которых не было в национальной культуре (профессиональная музыка и театр). Им созданы и первые образцы национальной живописи. Кроме того, в свое время он был едва ли не самым популярным общественным деятелем на всем Северном Кавказе, самым стойким борцом за народные интересы.

Словом, Коста Хетагуров — фигура исключительная в истории осетинского народа, и не только по своим индивидуальным свершениям, но и по влиянию на последующее развитие нации и ее духовного потенциала. И все же самое главное в творчестве и гражданском подвиге Коста, конечно же, его поэтическое наследие.

Коста Леванович Хетагуров (Хетагкаты) родился в селе Нар (ныне Алагирского района Северо-Осетинской АССР) 15 октября 1859 года. Жители Нарской котловины имели оживленные экономические и культурные связи с соседней Грузией и с равнинными селами осетинского предгорья. Еще на заре XIX века Нар был своеобразным очагом культуры высокогорной Осетии, но незадолго до начала общественной деятельности Коста Хетагурова потерял свое превосходство перед остальными горскими аулами, — духовная жизнь выросшей к тому времени осетинской интеллигенции сосредоточилась в главном административном и культурном центре Осетии — городе Владикавказе (ныне Орджоникидзе).

Род Хетагуровых был многочислен; отдельные представители его за военные заслуги перед Грузией имели дворянские грамоты от знаменитого грузинского царя Ираклия Второго.

Отец поэта Леван Елизбарович долгое время служил в русской армии и на склоне лет вышел в отставку в чине подпоручика. Женился он поздно и хотя к своему первенцу и единственному сыну Коста относился с большой любовью, но тесной духовной близости между ними не возникло. И не только из-за почти полувековой возрастной разницы, но и потому, что сын был представителем другого мира, другой эпохи — пореформенного времени, принесшего с собой иной образ жизни и иное мироощущение. Правда, поэт неизменно питал к отцу глубокое уважение. «Отца я не только любил, но обоготворял, — писал он после его смерти, — таких самородков, гуманнейших, честнейших и бескорыстных, я больше никогда и нигде не встречал. Мы с ним никогда не имели разногласия, и никогда он мне с самого моего раннего возраста не делал резкого замечания, не говоря уже о каком-нибудь подзатыльнике. Долго только он не понимал цели поступления моего в Академию художеств и постоянно спрашивал: «И все же кем будешь, кем?»

Он очень хотел, чтобы я был военным, но я уже и тогда так же принципиально смотрел на военную службу, как теперь, и он мне не стал возражать. При всем этом у нас с ним особенной близости не было, такой именно, чтобы я ему доверял каждую затаенную мысль». ¹

Ясно, что влияние отца на будущего поэта было чисто нравственным, о культурно-идеологической преемственности не могло

¹ Письмо к Ю. А. Цаликовой от 12 сентября 1899 г. — Коста Хетагуров, Собр. соч. в пяти томах, т. 5, М., 1961, с. 189—190.

быть и речи. А матери своей Коста не помнил совсем, она умерла, когда мальчику не было и двух месяцев. Но сиротское детство как неизбывная боль навсегда осталось в памяти поэта. Образ матери и не согретого материнской лаской детства лейтмотивом проходит через все его творчество.

Годы младенчества Коста провел в родном селе, в горах. Впечатления детских и отроческих лет позднее явились для него неиссякаемым источником поэтической изобразительности. Нравственное, психологическое и первоначальное эстетическое формирование его художественной индивидуальности произошло здесь, в горской среде, в Нарской котловине. Тончайшее ощущение родного языка и интуитивное постижение эстетических чувств горского крестьянства Коста также обрел в эти годы. Дальнейшее же становление его личности, идейное и культурное развитие его проходило за пределами Осетии и не на осетинской почве.

В 1870 году отец поэта переселился с большой партией безземельных горцев в Баталпашинский уезд Кубанской области и там основал село Георгиевско-Осетинское, или Лаба, как называли его сами жители. Через год Леван Елизбарович перевез к себе сына и определил его в Ставропольскую гимназию. С 1 ноября 1871 года Коста был зачислен в подготовительный класс Ставропольской мужской классической гимназии и определен в пансион при ней.

Десять лет учился Коста в этой гимназии, затем поступил осенью 1881 года в Петербургскую академию художеств, получив одну из двух стипендий, которые выплачивались администрацией Кубанской области из горских штрафных сумм. Закончить академию Коста не удалось: в январе 1884 года выдачу стипендии власти Кубанской области прекратили, а своих средств на учебу у него не было; отец к тому времени состарился и помочь сыну не мог. Коста еще два года посещал занятия в академии вольнослушателем, но летом 1885 года был вынужден вернуться в отчий дом, не закончив полного курса обучения.

Из Петербурга Коста приехал в Георгиевско-Осетинское, но деятельная натура молодого поэта и художника искала сферу приложения пробудившимся в нем талантам, и он переехал во Владикавказ. Переезд Коста был связан и с тем, что он долгие годы провел вдали от родного края и теперь его потянуло на родину, к родной языковой и культурной стихии. «Я вырос с русскими», — скажет он позднее в стихотворении «Прислужник», и это будет простой констатацией факта: пятнадцать лет жизни Коста прошли в среде русской учащейся молодежи почти без каких-либо контактов с осетинской действительностью.

Во Владикавказе он пробыл почти шесть лет, но по-настоящему проявить свои разносторонние способности не мог. Коста писал стихотворения, поэмы, пьесы преимущественно на русском языке. Работал он и как живописец, выставлял свои картины вместе с русским художником А. Г. Бабичем, рисовал театральные декорации, устраивал любительские литературно-музыкальные вечера, изредка печатал свои русские произведения в ставропольской частной газете «Северный Кавказ». Однако все это, конечно, не могло удовлетворить Коста, и он с горечью отметил в записной книжке в 1889 году: «Не могу отыскать себе дела. Разве только без просыпу пить...»¹ И действительно, все эти годы он живет, как богатырь в неволе, в провинциальном городке, где занятия живописью и поэтическое творчество рассматриваются как забава, предназначенная удовлетворять прихоти отдельных любителей изящного, а не как серьезное общественное дело. По правде говоря, народу Осетии тогда было не до художественных выставок и любительских спектаклей. Люди, задавленные нуждой и притеснениями самодержавных властей, скорее ждали общественного подвига, прямого заступничества, чем общекультурной просветительской деятельности. Коста был готов свершить подвиг, искал пути к борьбе, но не было пока никакой реальной почвы для большой и серьезной схватки с «врагами народными», как он называл самодержавные власти и покорных им прислужников.

Самыми примечательными фактами общественной деятельности поэта за годы пребывания во Владикавказе (1885—1891) надо признать его участие в торжествах по случаю открытия памятника Лермонтову в Пятигорске в 1889 году и протест против закрытия осетинской женской школы в январе 1891 года.

В Пятигорске Коста, выступая от имени осетинской интеллигенции, возложил венок к памятнику Лермонтова «от сынов Кавказа», произнес речь и затем прочитал стихотворение, написанное накануне праздника. На обороте программы торжеств сохранилось начало речи поэта: «Великий, торжествующий гений! Подростающее поколение моей родины приветствует тебя как друга и учителя, как путеводную звезду в новом своем движении к храму искусств, наук и просвещения».²

В газетных отчетах выступление Коста выглядело как наиболее яркий эпизод всего праздника, но стихотворение, посвященное памяти Лермонтова, цензура не пропустила на страницы печати, оно

¹ Литературный архив Северо-Осетинского научно-исследовательского института, фонд Коста Хетагурова.

² Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 297.

было опубликовано, да и то анонимно, лишь десять лет спустя. Реакция цензуры понятна: осетинский поэт видел в Лермонтове «предвестника желанной свободы», «благородную, мощную силу», поднимающую людей «на бой За великое, честное дело», а официальным организаторам торжеств хотелось юбилейными славословиями заглушить протестующий голос Лермонтова.

Это выступление для Коста памятно в двух отношениях: во-первых, он осознал, что в среде горской демократической интеллигенции на него смотрят с надеждой и ждут реальных действий. И во-вторых, что ему предстоит тяжелая и неравная борьба, что охранители самодержавия, как и во времена Лермонтова, зорко следят за каждым шагом и словом людей, проявляющих непокорство, что по-прежнему нельзя скрыться от их «всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей» даже за хребтом Кавказа. В этом он вскоре убедился.

В январе 1891 года внезапно был закрыт осетинский женский приют во Владикавказе — единственное учебное заведение, где девочки-горянки могли получить хотя бы элементарное образование. Осетинская интеллигенция тотчас высказала свой протест, подав жалобу на имя святейшего Синода (школа существовала на средства экзархата Грузии).

Решение о закрытии школы было отменено, но все лица, подписавшие прошение, поданное в Синод, понесли административное наказание. Коста, как организатор борьбы за осетинскую школу, был выслан по распоряжению начальника Терской области генерала С. В. Каханова за пределы родного края сроком на пять лет.

В начале июня 1891 года Коста выехал из Владикавказа в село Георгиевско-Осетинское к своему престарелому отцу. Началось, может быть, самое трудное время в жизни поэта. Теперь он вовсе был исключен из общественной среды и обречен вести межумочное существование: простым крестьянином он уже не был и не мог быть, а приложить свои знания и талант к какому-либо важному и достойному его делу не имел никакой возможности. В письме к В. Г. Шредерс от 19 сентября 1891 года он жалуется: «Положение мое не поддается описанию... Я отрезан от всего. Предлагают поступить писцом в управление отдела или конторщиком на серебряно-свинцовом руднике в Карачае. Последнее все-таки лучше... Жду, что будет дальше... Спасайся, кто может...»¹

В январе 1892 года Коста предстояло пережить еще более тяжелые удары судьбы. Сватовство к давно и горячо любимой девушке

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 15.

Анне Александровне Цаликовой завершилось вежливым отказом. Скончался отец поэта.

Позднее в письме к А. Цаликовой (от 6 декабря 1898 года) Коста так характеризует свое состояние: «...был выслан из Владикавказа... Попал в трущобы Карачаевских гор, на серебро-свинцовый рудник... Смерть отца окончательно потрясла мои нервы... Я почувствовал себя совершенно одиноким во всем огромном мире... Вначале меня обуяло чувство полнейшего отчаяния, затем я несколько овладел собой и стал рассуждать... Положение мое было совершенно исключительное. У меня во всем мире не оставалось ни одной паутинки, которая могла бы хоть на секунду удержать меня от любого рокового шага...»¹

В дебрях Карачая Коста провел почти два года, два бесплодных года, — служил, иногда писал незначительные вещи пером и кистью, метался в поисках выхода из создавшегося положения. Но только в феврале 1893 года удалось ему перебраться в Ставрополь и стать постоянным сотрудником газеты «Северный Кавказ».

В этой редакции Коста работал до середины 1897 года. И эти годы были временем самой интенсивной творческой и общественной деятельности осетинского поэта. По собственному его признанию, он переживал каждую строчку газеты «всеми фибрами души». В этой газете Коста опубликовал большинство своих русских стихотворений и поэм. Здесь же он сложился как ведущий публицист на всем Северном Кавказе. За четыре года он из безвестного провинциального поэта превратился в видного литературного и общественного деятеля своего времени.

Все эти годы Коста писал не только на русском языке. Его осетинские произведения в основном были написаны в это же время, но публиковать их он не мог — не было еще ни осетинской прессы, ни осетинского книгоиздательства. Однако поэт упорно работал над совершенствованием своих произведений, вошедших позднее в книгу «Ирон фандыр».

Весной 1897 года Коста расторг договор с издателем «Северного Кавказа» Д. Евсеевым и пытался приобрести у него это издание, на что, однако, не хватило денег. Обращение к осетинской интеллигенции о сборе необходимых для приобретения и издания газеты средств не принесло ожидаемых результатов. Многие образованные осетины самую идею издания специальной газеты, посвященной злободневным вопросам общественной жизни горских народов Кавказа, считали неверной, преждевременной. Мечта поэта не осуществилась.

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 47—48.

В июле 1897 года Коста Хетагуров принужден был сделать операцию. Она прошла удачно, но туберкулез тазобедренной кости не был побежден. В октябре поэту пришлось выехать в Петербург и вновь обратиться к врачам. 25 ноября он перенес тяжелейшую операцию, после которой шесть месяцев не вставал с койки.

В июне 1898 года Коста наконец вернулся на родину, где продолжил лечение. 2 октября он сообщал близкому родственнику, врачу Аидукапару Хетагурову, в Петербург: «Болей никаких, хожу совершенно свободно и почти не хромаю. Общее состояние здоровья превосходно». ¹ В это время он задумывает издать свои осетинские произведения, надеется получить в свое распоряжение пятигорский «Сезонный листок», превратить его в ежедневную газету, мечтает устроить наконец свою неприкаемую жизнь, но его ожидала новая расправа.

В. И. Абаев, большой знаток жизни и творчества поэта, сказал о нем: «У Коста был свой Бенкендорф — генерал Каханов». ² Первое выселение поэта за пределы Терской области было делом рук этого провинциального Бенкендорфа. Коста обжаловал самоуправство зарвавшегося чиновника, но распоряжение начальника области было отменено Сенатом лишь в июне 1896 года, когда срок ссылки уже истек (начальник области имел право высылать непокорных или неугодных ему людей сроком не «свыше пяти лет»). При этом решение начальства области отменялось не как незаконная расправа с поэтом, а всего лишь как акт, совершенный без соблюдения всех чиновничьих формальностей. Генерал-лейтенант Каханов кинулся было доказывать свою непогрешимость, но передумал, сочтя за лучшее не спорить с Сенатом, а подготовить другую расправу с поэтом — на этот раз по всей форме закона. И он стал неумоимо искать повод к новой ссылке Коста, немало досаждавшего всевластному начальнику своими статьями и сатирическими произведениями.

И повод нашелся: на одном из свадебных торжеств на окраине Владикавказа подвыпившие осетины стали, согласно обычаю, петь и стрелять, что привело к столкновению с полицейским патрулем. В числе участников этой пирушки, вступивших в пререкания с полицейскими, оказался однофамилец поэта Коста Созырькоевич Хетагуров. Начальник области раздул этот незначительный бытовой инцидент, представив его вышестоящим властям как вооруженное сопротивление местной администрации, как следствие политической

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 45.

² В. И. Абаев, Что значит Коста для осетинского народа? — «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института АН ГССР, вып. 10, 1960, с. 74.

агитации поэта. На этом «основании» Каханов вошел в штаб Кавказского военного округа с ходатайством о высылке Коста Хетагурова «во внутрь империи» сроком на пять лет.

В декабре 1898 года штаб Кавказского военного округа, получив отношение Каханова, обратился в совет Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе князя Г. С. Голицына. В январе 1899 года этот совет принял решение: «Константину Хетагурову воспретить жительство в пределах Кавказского края; войти, вместе с тем, через главный штаб в сношение с министерством внутренних дел об учреждении за названным лицом особого надзора».¹

20 января князь Голицын утвердил это решение. Теперь выселение Коста за пределы родного Кавказа было неминуемо. Месть маленького Бенкендорфа свершилась.

О происках Каханова поэт узнал лишь в феврале. Он немедленно выехал в Петербург добиваться отмены фальсифицированного обвинения кавказских властей, но было уже поздно. Изменить что-либо в своей судьбе он не мог. Единственно, чего он достиг, — это замены места жительства — вместо Курской губернии ему разрешили поселиться в Херсонской, с сокращением срока ссылки до трех лет.

26 мая 1899 года, в день столетия со дня рождения Пушкина, Коста уже был на пути следования в Херсон. Свою новую ссылку он переживал мучительно, но взял себя в руки и стал работать. Здесь была начата и завершена первая часть поэмы «Хетаг». Много трудился Коста и как живописец. Одновременно он продолжал борьбу за отмену решения терской администрации и в конце концов добился облегчения своей участи: весной 1900 года ему разрешили жить в Терской области, за исключением собственно Осетии и Владикавказа, но впоследствии и это ограничение было отменено (март 1901 года).

По возвращении на Кавказ (март 1900 года) Коста вновь стал сотрудничать в периодике Ставрополя, Пятигорска и Владикавказа, в газетах «Северный Кавказ», «Казбек», «Терские ведомости» и др. Публицистика его стала еще более острой и проблемной. Выступал он не менее активно, чем в пору расцвета своей журнальной деятельности, и, казалось, наступил новый, более зрелый период его творчества, но вскоре обнаружилось, что силы поэта были на исходе, что здоровье его непоправимо надломлено.

В декабре 1901 года Коста переехал во Владикавказ, решив поселиться здесь навсегда. Он принимает деятельное участие во всех местных культурно-просветительских мероприятиях, занимается жи-

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 439.

вописью, публицистикой, продолжает работу над поэмой «Хетаг», пытается открыть школу рисования для одаренных детей, предполагает взять на себя редактирование газеты «Казбек». Однако все эти начинания остались незавершенными или неосуществленными. К концу 1902 года тяжелое нервное заболевание дало о себе знать настолько, что друзья и близкие поэта были серьезно обеспокоены за его жизнь.

Первые месяцы 1903 года Коста, больной и одинокий, провел в нетопленной квартире, лишенный не только медицинской помощи, но и элементарного присмотра. Материальные затруднения были столь беспросветны, что гордому Коста приходилось порой просить у друзей на хлеб насущный. Летом из Георгиевско-Осетинского за ним приехала сестра Ольга Левановна и увезла его в родное село. Поэт прожил еще три года, но вернуться к творческой и общественной деятельности уже не смог. 19 марта 1906 года перестало биться его благородное сердце.

Похоронили Коста вначале на кладбище Георгиевско-Осетинского, рядом с могилой отца, но осетинская общественность решила перенести прах великого поэта и народного заступника во Владикавказ. Здесь он и был погребен в ограде осетинской церкви. Похороны поэта превратились в своеобразную демонстрацию единства народов Кавказа. С ним прощались не только осетины, но и русские и украинцы, чеченцы и кабардинцы, армяне и грузины, люди разных языков и вероисповеданий.

При жизни поэта мало кто из осетин понимал подлинное значение художественного творчества и общественной деятельности Коста, но когда его не стало, то со всей очевидностью обнаружилось, что ушел человек необыкновенного таланта, мудрости и мужественного характера. Правда, Коста и при жизни был любимцем родного народа: когда он томился в херсонской ссылке, то народные певцы сложили о нем героическую песню, в которой по традиции полагалось славить лишь погибших в бою героев. Для Коста народ сделал исключение. Однако его образ во весь громадный рост предстал перед народным сознанием только после кончины поэта. Творческий и гражданский подвиг Коста в эстетическом и нравственном сознании осетинского народа стал символом всего прекрасного, мудрого и гуманного.

2

Стихи Коста стал писать еще на школьной скамье, писал на русском и осетинском языках, а в годы юношества преимущественно на русском. Начальную поэтическую школу он прошел на русском

языке, и в какой-то мере этим объясняется тот факт, что на осетинском языке он начинает сразу же как зрелый мастер поэтического искусства. Будучи студентом Академии художеств, Коста также писал на русском языке. Из стихотворных опытов тех лет сохранилась лишь неоконченная драматическая поэма «Чердак» и несколько других драматических набросков. Судя по ним, можно сказать, что Коста был еще далек от понимания насущных вопросов общественной жизни не только Осетии, но и Кавказа вообще. Это и понятно: с отроческих лет он рос вдали от родного края, в среде русской интеллигенции, был погружен в стихию русского языка и русской литературы. Естественно, что осетинской действительности он не знал, не мог о ней судить и жить ее тревогами.

Напротив, в «Чердаке» и в некоторых других произведениях сказался серьезный интерес поэта в годы студенчества к коренным вопросам русской действительности. Дело народного освобождения, возможность и необходимость борьбы против «державного строя», роль интеллигенции в этой борьбе, роль народничества «в судьбах отчизны», просветительство и «хождение в народ», смысл и назначение человеческой жизни, личное счастье и революционный долг гражданина — таковы вопросы, которые волнуют молодого поэта. Трудно установить, к каким решениям приходил Коста в эти годы, но достоверно можно сказать, что «хождение в народ», вера в просветительство, ожидание краха самодержавия без героического и организованного вмешательства в историю самих людей, жаждущих свободы, — остались ему чужды. Об этом совершенно ясно свидетельствуют названные произведения. Покорство злу и насилию только укрепляет и увековечивает зло — это коренное убеждение поэта вынес из опыта своей недолгой жизни и выразил его в одном раннем драматическом наброске. В нем спорят художник, пастух и образованная девушка-горянка. Косер (девушка) читает описанную в книге какую-то возмутительную историю. Бибо (пастух) наивно восклицает, что, случись это при нем, он бы задушил мерзавца. Косер наставляет: «Эх, Бибо, Бибо! На свете так много еще злых людей... Их всех не передушишь, а пока они существуют, будут существовать и возмутительные истории... Всеобщее образование только и может искоренить это зло». В ответ пастух иронически замечает: «То есть это достигнется тогда, когда все пастухи будут вместе с тем и художниками?» Художник бросает едкую реплику: «Или, по крайней мере, когда художники перестанут быть баранами».

Первые юношеские произведения поэта выявляют не только круг интересовавших его проблем, но и имена тех писателей, на опыт которых он опирался в пору своего поэтического ученичества. Это —

Пушкин, Лермонтов, Некрасов. И примечательно, что они навсегда остались для Коста идеальными представителями истинного поэтического искусства и героическими поборниками справедливости в общественной жизни.

Зрелый период в поэтическом творчестве Коста наступил вскоре после возвращения его на родину в 1885 году. Это было время прямого столкновения поэта с ужасающей осетинской действительностью. Нищета и несправедливость, вековое невежество и духовная подавленность народа привели его в отчаяние. Первые его стихотворения, связанные с этими впечатлениями («Взгляни!» и «Горе»), полны чувства безысходного отчаяния и тщетного ожидания какого-то чуда, которое только и может вывести народ из создавшегося положения. Характерны завершающие строфы этих стихотворений:

Достойных так мало у нас!
И что мы такое сейчас?
И чем мы со временем будем?
Ползешь ты вслепую, мой край.
Взгляни ж, Уастырджі, и не дай
Погибнуть измученным людям!

(«Взгляни!»)

Враг наш ликующий в бездну нас гонит,
Славы желая, бесславно мы мрем.
Родина-мать и рыдает, и стонет...
Вождь наш, спеши к нам, — мы к смерти идем!..

(«Горе»)

Этот мучительный вопрос — «И что мы такое сейчас? И чем мы со временем будем?» — Коста поставил перед всей осетинской общественностью и перед самим собой открыто, беспощадно, как коренной вопрос национального исторического бытия. Найдет ли народ в себе силы для полнокровного исторического и культурного развития, или он обречен на жалкое прозябание и скорое исчезновение как самобытная этническая и историко-культурная общность — такая дилемма возникла во второй половине XIX века, и первым эту проблему ясно и осознанно выдвинул Коста Хетагуров.

Для отчаяния имелось все основания, но падо было находить верные решения, а не предаваться унынию. Коста — натура деятельная и ищущая — стал вопрошать историю, чтобы найти ключ к проблеме социального и культурного возрождения своего народа. Он хорошо усвоил у своих предшественников, русских революционных демократов, принцип исторического объяснения будущности народа.

Связь времен — объективная основа для провидения исторической перспективы народного бытия. Таково бесспорное убеждение поэта. Позднее он сам четко скажет о своем поиске: взор, что «надеждой пылал», «в минувшем с любовью блуждал И вливался в грядущее жадно».

Надежда поэта состояла в том, что минувшее народа, его исторические свершения дадут объяснение настоящему, современному социально-культурному его состоянию и позволят предвидеть его будущее как закономерное следствие всего пройденного исторического пути. Окрыленный этой надеждой, Коста со всей горячностью отдался художественному исследованию истории. Поэмы «Фатима», «Перед судом», «Плачущая скала», этнографический очерк «Особа» — все эти произведения посвящены анализу и оценке противоречий недавнего исторического прошлого осетинского народа, пожалуй и всех горцев Северного Кавказа.

Раньше других была написана и опубликована поэма «Фатима» (1889). Ситуация, в которой развернуты конфликты, судьбы и стремления персонажей поэмы, — это стык двух эпох в истории горских народов (дореформенной и пореформенной). В этот период завершается многолетняя освободительная война горцев с российским самодержавием, окончательное замирение горцев и наступает в их трудной судьбе «новая жизнь». Тему войны поэт оставляет за пределами своего повествования — не она волнует его. Свое внимание он сосредоточивает на внутренних противоречиях горского бытия, на сословных, идеологических и нравственных конфликтах.

Герой поэмы Джамбулат, сын наиба, горячо любит приемную дочь своего отца Фатиму, которая также равнодушна к нему. Однажды в бою Джамбулат попадает в плен к русским, и его ссылают в Сибирь. Пять лет ждет его Фатима, но тщетно — Джамбулат не возвращается. Наиб побуждает ее выйти замуж по своему выбору, и она решает выйти за... бывшего холопа Ибрагима.

Фатима счастлива с Ибрагимом — он давно и преданно любил ее. Наступило пореформенное время, ушла в небытие система барско-холопских отношений. Откупившись от князя и став свободным, Ибрагим своим безмерным трудом добывается скромной, но безбедной жизни. И вот как раз в это время возвращается из плена Джамбулат.

Бывший «юный князь» смотрит на новую действительность глазами прежнего хозяина. Сословная спесь и ненависть к бывшим рабам и холопам двигает всеми его помыслами и поступками. Как типичный романтический герой, он одержим одной страстью — любовью к Фатиме. Но он никогда не забывает, что Ибрагим бывший

холоп, а не князь. Даже Фатиму он оскорбительно называет «женой продажного холопа и матерью щенка». Убеждая Фатиму оставить Ибрагима и бежать с ним, Джамбулат говорит ей: «Не оскверняй начатый бой с холопами». Но Фатима не сочувствует его намерениям, и тогда он идет на преступление — из засады убивает Ибрагима. Джамбулат считает, что убрал со своего пути единственную помеху, и спешит к Фатиме, но его ждет полное разочарование — Фатима называет его убийцей и лишается рассудка. Джамбулат исчезает из дальнейшего повествования — у него уже нет ни будущего, ни оправдания: он перестал существовать. Печальную судьбу Фатимы автор досказал сжато, участливо, замкнув свое повествование историко-социологическим экскурсом в пореформенную действительность.

Сюжет «Фатимы», задуманной как типично романтическое произведение, прост и традиционен. Конфликт на первый взгляд сводится к открытому соперничеству между Джамбулатом и Ибрагимом в любви к Фатиме. И если бы все содержание произведения в этом и заключалось, то мы имели бы перед собой весьма ординарное повествование. Однако вся суть поэмы в ее социальной, нравственной и исторической концепции.

Уже отмечалось, что сущность войны между горцами и царским самодержавием не раскрывается в поэме, но упоминание о войне четко определяет начальную хронологическую границу повествования. Однако значение данного факта шире. Об уходе Джамбулата на войну Фатима рассказывает так, словно речь шла о свободе: «то не войне Служить хотел он, — нет! — Свободе!..» Это высокое слово Свобода наполняется здесь особым содержанием: Джамбулат защищает не только независимость края, но прежде всего неприкосновенность своих сословных привилегий. Правда, он не осознает это с полной отчетливостью, но суть дела от того не меняется. Позднее, вернувшись из плена, Джамбулат встретится лицом к лицу с той свободой, которая пришла в горы вслед за окончанием войны. Это — освобождение холопов, рабов, свобода от сословной зависимости, свобода для Ибрагима. Это о нем рассказывают дровосеки:

Как я, как ты, и Ибрагим
Родился в яслях... но к свободе
Никто из нас его любовью
В своей неволе не пылал...
Трудом, облитым потом, кровью,
Он раньше всех свободным стал...

Та свобода, ради которой шел на смертный бой Джамбулат, для Ибрагима была неволей. Свободу Ибрагим и его братья по сословию

обрели лишь после завершения войны, когда от бывшего ничего не осталось, когда завершилась целая эпоха в истории горских народов. Наступила новая жизнь, которая чужда Джамбулату, и он начинает новую войну — теперь уже против бывших холопов, таких, как Ибрагим. Его поведение в новых условиях бросает свет и на мотивы его прошлого «геройства»:

Потомок княжеского рода...
Джигит, каких я не встречал,
Был славой, гордостью народа...
Попал к гяурам в плен... бежал...
Вернулся к нам — и наш он снова...
Но что застал он от бывшего?
Полуразрушенный аул
И башню без ребра и скул!..
С Наибом умерла и слава
Винтовок, шашек, скакунов...

Былое ушло, а вместе с ним ушли и старые представления о славе, достоинстве, свободе и т. д. Джамбулат оказался «бывшим человеком», героем новой исторической ситуации стал не джигит с его доспехами и бранными подвигами, а освобожденный раб, пре-
зираемый княжеским последышем:

Меж тем для княжеских сынков
Не по руке еще забава:
Соха, топор и наш ремень...
Холопов нет, работать лень,
А голод, говорят, не тетка —
И вот, как старая подметка,
Вздывая пыль, сгущая грязь,
В народе топчется и князь,
Отцов наследье проживая...
И жалок он, да и смешон...
Равняться с нами не желая —
Ты посмотри, — чем занят он?
С винтовкой, на коне, весь год
Скитаясь по аулам дальним,
Воспоминанием печальным
Везде смущает лишь народ...
Везде, едва-едва терпим,
Подарки вымогает силой...
Таков и Джамбулат наш милый...

Эта характеристика князей пореформенного периода вообще и Джамбулата в частности совершенно проясняет концепцию поэта: в пореформенное время сложилась такая ситуация, в которой привилегированное меньшинство горских народов, с их традициями наездничества и джигитства, с их барским пренебрежением к труду и трудящемуся человеку, оказалось лишними, ненужными, вредными для горского народа людьми. Им предстояло расстаться со своей барской психологией и сословными предрассудками и принять нравственные понятия народа или же вступить в жестокий конфликт с новой жизнью и погибнуть, так и не приспособившись к ней. Джамбулат выбрал последний путь и совершил преступление.

Таким образом, мысль поэта совершенно ясна: замирение Кавказа и ситуация, сложившаяся за этим историческим рубежом, коренным образом изменили социальную структуру общества, что должно было повлечь за собой изменения в нравственных и идеологических основах горского бытия. Патриархально-феодалная знать, лишившись в известной мере своих привилегий, стала откровенно реакционной силой, отжила свое время вместе со старинными традициями наездничества. В новых исторических условиях необходимо ориентироваться не на бранные подвиги и наездническое удалство, а на труд как единственный источник не только материальных благ, но и человеческого достоинства, всех нравственных ценностей. Свобода не есть прежняя патриархальная воляница — она была свободой для привилегированных и самой примитивной и грубой формой рабства, бесправия, неволи для простых людей. Эти мысли вытекают из всего содержания поэмы.

Выше уже говорилось о том, что Джамбулат ведет «бой с холопами». Но еще раньше этот идеологический конфликт намечался в споре Фатимы с приемным отцом, князем Наибом (имя это обозначает военно-духовную должность, что также подсказывалось традициями романтической поэмы: Корсар у Байрона, Хаджи-абрек у Лермонтова; подобное же наименование героя у Коста в поэме «Эски-разбойник»).

Наиб-отец предлагает дочери выйти замуж. Он не навязывает ей своего желания («...мысль о выборе своем Я унесу с собой в могилу»), но требует, согласно законам Магомета, определить свой выбор. Фатима назвала имя Ибрагима. Это ошеломляет князя-отца, который не может ни понять, ни согласиться с выбором дочери — ведь Ибрагим не князь! Сословной спеси и предрассудкам отца Фатима противопоставила иную меру человеческого достоинства:

В труде, облитом потом, кровью,
Согретом правдой и любовью,
Найду отраду и покой. . .

Принять такой взгляд не способны князья — ни отец, ни сын, — это нечто непонятное и чуждое их сословной гордости. Труд они презирают как занятие, достойное холопов и рабов, но унижающее князей. Правда для них сводится к предписаниям адата и к соблюдению их, любовь — к верности кровно-родственной поручке и к эгоистическому чувству собственника, свобода — к неограниченности сословного произвола и неприкосновенности сословных привилегий. И все это отрицается той нравственностью, которую исповедуют Фатима, Ибрагим и все простые труженики-горцы в произведении поэта. В этом широта конфликта поэмы, захватывающего всех персонажей, если даже они прямого отношения к соперничеству Джамбулата и Ибрагима не имеют.

Фатима и Ибрагим противопоставляют Наibu, Джамбулату и всему их сословию труд — как форму самоутверждения личности и человеческого достоинства, свободу — как равноправие всех людей; любовь — как гуманистическое сострадание к человеку, что в корне противоположно эгоистической гордыне в отношениях между людьми.

Такой тип психологии и поведения был рожден горской действительностью второй половины XIX века. Конечно, этот нравственный и идеологический кодекс имел корни в сознании трудового крестьянства, но поэт развил и обогатил патриархально-родовые представления о справедливости и свободе, человеческом достоинстве и гуманизме, поднял их на более высокий уровень. Он вносил в жизнь народа новую идеологическую и нравственную ориентацию.

В своих мыслях о прошлом Коста был всегда последователен, а позиция его строго продумана. Патриархально-феодалное прошлое горцев не содержало в себе свободы — это основная его посылка, и она утверждается им и в публицистике, и в целом ряде художественных произведений. В этом смысле поэмы «Перед судом» и «Плачущая скала» близки к «Фатиме».

«Перед судом» — поэма-монолог. В ней нет точных временных примет, но герой ее — разбойник — живет в эпоху феодальных отношений. В поэме сюжет «Фатимы» как бы перевернут: Эски, крестьянский парень, раб князя, влюбляется подобно Ибрагиму в княжескую дочь, и она отвечает ему взаимностью, но ее выдают за княжича. Соперник гибнет от руки Эски, который после этого становится

профессиональным убийцей. Наконец он предстает перед судом, и его откровенный рассказ о своей судьбе составляет содержание поэмы.

Характерно, что о преступлениях разбойника в монологе упоминается вскользь:

У камня, посреди долины,
Убил я жениха Залины. . .
А остальных — их было много, —
За что и где? — не помню сам. . .

Рассказ героя — обвинительная речь против жестокости феодального мира. Эски вырос в нем всеми презираемым холопом. И единственная радость, которую он познал в своей трудной жизни, это общение с красотой природы. И куда он, пастух, бродил одиноко в горах со стадом и был далек от людей, никто его не трогал. Но при первой же попытке войти в их жизнь он был отвергнут «с глубоким омерзеньем». А ведь требовал он не так уж много — простого человеческого права на любовь, на братское участие:

Безумный раб, холоп ничтожный,
Щенок, подкинутый судьбой,
Я, мыслью ослепляясь ложной,
Открыто выступил на бой
С адатом родины суровой. . .
Я полюбил весь мир, весь свет
И дерзко требовал в ответ
Себе какой-то жизни новой —
Свободы, равенства и счастья. . .
Я дерзко требовал у всех
Любви и братского участия,
А встретил ненависть и смех. . .

Судьба Эски-разбойника типична для всех рядовых горцев во времена патриархально-феодальных отношений; исключительно лишь его непокорство миру, где он жил в «беспросветной неволе». Беззащитность, унижение человеческого достоинства, жестокость адата и бесконечное прозябанье — ничего другого не мог ждать от этого мира простой горец. Восставший раб ответил на несправедливость преступлением, которое скорее похоже на бунт, ибо направлено оно было против преступного же мира. К тому же сам Эски-разбойник осуждает свою форму протеста:

Судите! Преступленьем новым
Не искуплю свою любовь, —
Потоком будет течь багровым
И без меня людская кровь. . .

Жизнь будет краше без меня. . .

В «Фатиме» дореформенному прошлому горцев вынесен приговор всей логикой сюжета, самим разрешением конфликта, наконец авторской оценкой изображаемой действительности; в поэме «Перед судом» — сознанием и всем опытом жизни рядового горца, на судьбе которого очевиднее всего сказалась несправедливость общественных отношений. В «Плачущей скале» поэт уходит еще дальше в глубь веков и показывает горский патриархально-феодальный мир на заре его столкновения с русским самодержавием.

Поэма начинается с противопоставления седой старины пореформенной действительности. Характеризуя нравы и обычаи, изображенные в поэме, поэт писал:

Давно, давно, когда суровый
Кавказ во мраке утопал,
Когда о жизни нашей новой
Еще никто и не мечтал;
Когда судьбу людей решали
Порыв, каприз и произвол,
Когда для слез, для мук, печали
Гораздо больше было зол;
Когда для варварской забавы
Людская кровь лилась рекой,
Когда для подвигов и славы
Был нужен меч и бой кровавый, —
Тогда вот случай был такой. . .

Верность этой мрачной картины подтверждается всеми рассказанными в поэме трагическими событиями. Дед приносит в жертву единственного внука. Поверив «прорицаниям» полоумного «ясновидца», пятилетнего мальчика живого бросают в огонь. Вслед за ним кидается в пламя мать, и оба погибают.

В социально-исторической концепции Коста этот мир суеверий и предрассудков резко противопоставляется «новой жизни», которой отдается безусловное предпочтение. Прошлое изображается как царство рабства, жестокости, духовного застоя и невежества. И поэт всей силой анализирующей и оценивающей мысли, всем строем своих

поэтических эмоций убеждает читателя в одном: к патриархально-феодальному прошлому горцев возврата нет, субъективное тяготение к нему держится на ложной идеализации старины.

В пореформенный период, когда горцы испытывали наступление совершенно новых и неведомых для них капиталистических отношений, неумолимо вторгавшихся в их быт, материальную и духовную культуру, такая концепция прошлого снимала с него романтический ореол и противостояла всякой провокационной агитации, звавшей к восстановлению былой «вольности», которая будто бы существовала в системе патриархально-феодальных отношений. Недавно замирному населению Кавказа перед лицом неотвратимо надвигавшегося буржуазного мира и все более усиливавшегося самодержавного гнета стремление уцепиться за отживающее прошлое, естественно, должно было казаться избавлением от непонятого зла «новой жизни». Надобно было быть трезвым и глубоким мыслителем, чтобы наперекор общему настроению выработать концепцию, отвергающую старый уклад именно как неволю, и, напротив, непривычную историческую ситуацию, трудную и жестокую, признать за «новую жизнь».

Коста отлично понимал, что эта «новая жизнь» не содержит в себе свободы, что и она несет простым людям много мук и страданий. Но он видел и ее историческую прогрессивность, поэтому раз и навсегда предпочел ее прошлому горских народов, в характеристиках которого поэт бывал резок и категоричен. Минимой вольности патриархальных отношений он противопоставил истинную свободу, которая открывалась ему в перспективе исторического прогресса. В стихотворении, посвященном памяти Я. М. Неверова, видного деятеля просвещения на Кавказе, Коста снова ратует за то, чтобы утвердить новые идеалы в нравственном кодексе горцев — «понимать иначе долг и честь», «забыв вражду исконную и месть», отбросить древний девиз «кровь за кровь» и отдать свои силы «новой борьбе», отменить старые нормы жизни ради подлинной свободы в будущем: «... для истинной свободы Не дорожить привольем дикарей».

«Истинная свобода» и «приволье дикарей» — такую заостренную антитезу Коста выдвинул ради политического, идеологического и нравственного перевооружения горского общества, ради внесения в народное сознание освободительных идеалов.

Новая действительность несла с собой просвещение, избавляла народ от былой разьединенности и вековых предрассудков, создавала возможности для единения и организации, — вот почему поэт так категорично предпочитает ее прошлому. Однако Коста знал и все мерзости буржуазного мира, особенно в его кавказском варианте,

едва ли не столь же варварском, как и недавнее патриархальное прошлое горцев.

Ленин дал гениально точную характеристику дореформенному прошлому горцев Кавказа: они стояли «в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории». ¹ И столь же точно определил социально-исторический смысл горской действительности пореформенного периода: «Русский капитализм втягивал таким образом Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал его местные особенности — остаток старинной патриархальной замкнутости, — *создавал себе рынок для своих фабрик. Страна... превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табака, и господин Купон безжалостно переряживал гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея*». ²

Этот процесс втягивания горцев в русло капиталистического развития, крушение «старинной патриархальной замкнутости» и победу новых отношений в свое время называли «переходным состоянием», «столкновением двух культур» и т. д., но реальный смысл сложившейся ситуации заключался в том, что разложение привычного хозяйственного уклада вносило в горскую среду глубокое смятение. Необходимо было приспособить к непривычным условиям жизни все свои навыки ведения хозяйства, адаптироваться психологически и нравственно. Должны были произойти глубокие сдвиги в сознании и психологии горца, а такой процесс был болезнен и чреват опасными последствиями. Безжалостное переряживание «гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея» легко могло привести к моральной деградации впечатлительных и доверчивых патриархальных горцев. Исторический прогресс означал не только приобретения, но и большие потери в сфере нравственности и культуры.

Коста Хетагуров, сознавая всю сложность «переходного состояния» горцев, пытался, с одной стороны, внушить им мысль о том, что к прошлому возврата нет и идеализация его есть вредная иллюзия, с другой стороны, предупреждал их, что необходимо выстоять перед аморализмом буржуазных нравов. В этом смысле показательное соотношение пролога и эпилога в поэме «Фатима». В прологе поэт говорит о своих идеалах («О восторгах любви, наслаждениях труда И о светлом блаженстве свободы»), а в «Заклучении» обобщает

¹ В. И. Ленин, Развитие капитализма в России. — Полн. собр. соч., т. 3, М., 1958, с. 594—595.

² Там же.

те перемены, которые произошли в горском быту за первое тридцатилетие пореформенного периода:

Не узнали меня. . . Изменился аул, —
Вместо сакли — турлучная хата. . .
И обои, и печи. . . Висят зеркала
Вместо шашки, ружья, пистолета. . .
. . . Изменяется всё — и язык, и наряд. . .
Деньги наши в ходу, слава богу! . . .
Есть и школы. . . Я видел — из хаты одной
Вышел с книжкой, босой и без шапки,
Мальчуган. . . и еще. . . тот, в рубахе цветной, —
И посыпались чуть не десятки. . .

Направленность мысли поэта ясна: от прошлого к «новой жизни», а в ней пролагать пути к истинной свободе, к справедливому социальному устройству.

Говоря о трактовке поэтом недавнего исторического уклада, надо иметь в виду еще одну особенность его взглядов: резко отрицательное отношение к этому укладу естественно уживается у него с мыслью о том, что горцы из своего исторического опыта вынесли такие черты характера, которые должны сохраниться в новых условиях народного бытия, так как нравы, господствующие в мире буржуазной наживы и эгоистической предприимчивости, дегуманизируют человеческие отношения.

Такой точки зрения Коста придерживался, борясь против официальных мнений, клеветнически очернявших нравственный быт горцев. Защитники самодержавной политики на Кавказе пытались оправдать жестокие административные преследования местного населения ссылкой на варварские традиции горского общества. И тогда Коста современной безнравственности противопоставлял этические нормы прошлого. Он утверждал, что горцы «. . . сумели сохранить такие традиции, какими может гордиться лучший европеец. Рыцарская неприкосновенность чести, святость долга, верность данному слову и многое другое до того присущи каждому туземцу, что с ними следовало бы считаться всем тем, кто действительно является к ним с просветительными целями. Иначе, при наличии таких качеств, всякая неблагоприятная эксплуатация их непочатых сил и богатств всегда будет вести к неравной борьбе капитала с местными традициями, что в конце концов должно будет разрешиться если не вымиранием, то или полнейшим экономическим, или нравственным упадком населения».¹

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 4, с. 143.

Этим утверждением поэт отводил клевету на национальный характер горцев и защищал их от произвола колониальной администрации и «неблаговидной эксплуатации» капитала. А защищал горские народы Коста всеми доступными ему средствами — поэтическим словом, публицистической статьёй, прошениями в официальные инстанции и т. д. Но ярче и полнее позиция Коста в оценке современной действительности проявилась в его сатирической и обличительной поэзии, прежде всего в поэме «Кому живется весело».

В этой поэме современность представлена как прямое продолжение прошлого, которое, правда, дается в краткой суммарной характеристике. Но отношение поэта к патриархальной старине прежнее:

Живя в стране неведомой,
Народы разнородные
И речь вели по-своему,
На разных языках,
И меж собой исконную
Вели вражду. . . Как водится,
Пред сильными бессильные
Клонили выю ниц.

Но вот в страну феодальных распрей пришел «могучий богатырь», и

Бессильные с охотою
Признали в нем заступника,
Надменных же он силою
Заставил бросить щит.

Казалось, заступничество богатыря осчастливит народ, но случилось непредвиденное: богатырь отдал в награду «своим войскам все лучшие Поля, леса»:

И горе побежденному —
Народы усмирные
И села разоренные
Остались без земли. . .
. . . И что за жизнь народная,
Когда в земле нужда!

Итак, причину современных неурядиц поэт видит прежде всего в том, что лучшие земли горцев были отняты и розданы «войскам богатыря». Вторая причина — произвол кавказской администрации. Поэма, собственно, вся посвящена изображению этих явлений.

Сюжетно поэма строится на полемике условного персонажа («старика в усах с подвесками») с «семью выгнанными чиновниками». Из характеристик старика и взаимных перекрестных «обличений» чиновников перед читателем встает картина неограниченного произвола административного аппарата царизма на Кавказе, крайней нищеты и беззащитности народа.

Чтобы как-то оградить себя от цензурных рогаток, поэт вынужден был представить своих чиновников выгнанными со службы:

...служба наша царская,
Обязанность гражданская
И правда современная
Не терпят уж воров.

Видимо, этим объясняется, что поэма все же увидела свет на страницах газеты «Северный Кавказ» (март — апрель 1893 и 1894 года). Но чем ближе к концу приближалась публикация произведения, тем определеннее выступал его замысел. Стало ясно, что осмеянию в нем подвергается вся система правления в одной из окраин России, что речь идет не о злоупотреблении властью отдельными чиновниками, а об узаконенной системе экономического ограбления, политического и духовного закабаления народов Кавказа. И это не могли не заметить чиновники Главного управления по делам печати. Их отзыв гласил: «В этом давно уже печатающемся «подражании» выводились разные типы мелких властей и осмеивались эти власти в такой форме, что соблюдались и должная осторожность и приличие. В данном случае цензурные границы уже грубо перейдены и вместо речи о маленьких туземных властях говорится о русской власти в крае, которая начала-де с полного произвола и с того, что „грабят каждого днем и по ночам“». ¹

Цензурное ведомство запретило публикацию продолжения поэмы, злодеяния «старшего страны неведомой» — Семена Любоедова — не были вынесены на суд читателя. Однако то, что было сказано о чиновниках менее высокого ранга, ясно говорило и о делах «старшего страны». Когда цензура уразумела и это, поэма была полностью изъята из состава книги стихотворений поэта в 1895 году.

В письме к А. А. Цаликовой от 8 июня 1899 года Коста признавался, что у него есть стихотворения, которые «прямо-таки ужасны по чувству высказываемых в них ненависти и презрения к объекту обращения». ² Эти слова точнее всего, пожалуй, передают пафос

¹ Цит. по примечаниям к т. 5 Собр. соч. Коста Хетагурова, с. 413.

² Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 92.

поэмы о самодержавном режиме на Северном Кавказе. Каждая деталь портретной характеристики, любой эпизод, рассказывающий о корыстных проделках чиновничества, пронизаны этими чувствами. Чиновники ничтожны сами по себе, но, оказавшись у власти, они трабят, изворачиваются, подличают, входят в сговор с профессиональными разбойниками, с местными мироедами, вместо просвещения вводят самые изощренные репрессивные меры, натравливают друг на друга разноязычные народы и к тому же причиной всех неурядиц в крае выставляют их дикость и непокорство, навлекая на них новые беды и преследования.

Старик повествователь характеристику общественной «деятельности» чиновников дополняет описанием их в повседневном быту, в личных отношениях. Он издевается над ними грубо и злорадно. Не случайно в его речи преобладают уничижительные и просто оскорбительные сравнения. Так у Семена Любоедова, «как у мопса старого, Стекланные глаза»; Рубков «Порывы увлечения Умеет регулировать, Как клячу водовоз», в нем «Таланты разнородные, Как в луже инфузории» и т. д.

Издевательский тон повествования обозлил настоящего Семена Любоедова, т. е. выведенного под этим именем начальника Терской области с 1890 по 1899 год генерала Семена Каханова, с редкостным упорством преследовавшего поэта за все время своего правления на Тереке. На административную расправу, на насилие колониальных властей поэт отвечал разоблачительными публицистическими статьями и сатирическими инвективами. Позднее он по праву сказал о себе: «... всю мою жизнь посвятил борьбе с администрацией Кавказа».¹

3

Сатирических мотивов немало и в лирической поэзии Коста. Правда, объектом обличения в его лирике выступают не чиновники, а нравственный, психологический и идеологический мирок воинствующего мещанства. Противопоставление поэта толпе, ее образу жизни и мещанским идеалам счастья — таков смысл обличительных стихов в лирике Хетагурова. И эта позиция отчетливо прослеживается не только в собственно обличительных, но даже в ряде интимно-лирических произведений. И выражается она двояко: поэт либо открыто развенчивает мещанский образ жизни, либо противопоставляет ему собственный идеал.

¹ Впечатление жизни. — Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 297.

В этом смысле характерно одно из ранних стихотворений «На „bis“», в нем сочетаются обе формы полемики:

Чего хотите вы? Ужели развлеченья?
Ужель пустой тоски и праздности года
Хотите искупить минутой увлеченья?
Тогда и выходить не стоило труда.

Вслед за тем от описания «вседневной пошлости» толпы поэт переходит к изложению собственных представлений о достойном человека образе жизни:

Хочу, чтоб не были вы в жизни торгашами
Душой и совестью, свободой и умом,
Чтоб друг на друга вы смотрели не врагами,
А каждый бы искал сочувствия в другом.

Такое неприятие морали толпы, противопоставление ей нравственной добропорядочности для Коста всего лишь элементарная норма поведения. Идеалом же высшей нравственности ему представляется позиция бойца, готового идти на Голгофу «За блага родины, страдая и любя».

В мире лирического творчества поэта общество подразделяется на три слоя: это — народ, толпа (т. е. мещанство) и светская верхушка. Народ противостоит и толпе, и свету. При этом он пока пассивная, страдающая масса, хотя и пребывает в вечном созидательном труде. Поэт (он же пророк или герой) — заступник народа, глашатай идей свободы и равенства, любви и правды, добра и красоты. Эти идеи он считает обязательными для всех, но толпа и свет их отвергают. И судьба поэта, борца за высокие идеалы общественного устройства и человеческого достоинства, трагична ввиду открытого и бескомпромиссного сопротивления толпе и свету, их паразитическому образу жизни, идеалам мещанского благополучия, эгонстической морали.

Роковое начало в судьбе поэта, о котором говорил еще Некрасов («Братья писатели, в нашей судьбе Что-то лежит роковое»), восходит именно к этой коллизии.

Толпа не только равнодушна к участи поэта-страдальца, она резко неприязненно реагирует на его проповедь, более всего отвергая идею свободы. Во враждебной настроенности мещанской толпы на первый план выступают три момента: во-первых, толпа оправдывает свое равнодушие к идеалам поэта ссылкой на природу человеческой натуры, будто бы созданной для своекорыстия, а не для «святой любви» к народу:

Оставь, поэт! Напрасно не зови
Нас за собой, не трать на нас речей, —
Мы созданы не для святой любви,
А для пиров вальпургьевых ночей.

(«Поэту-мечтателю»)

Но это лишь исходный пункт спора. Такое оправдание мещанского своекорыстия не отвечает на главное в проповеди поэта, ведь он зовет прежде всего к свободе, к «жизни новой», а не только к нравственному усовершенствованию человеческой природы. Но здесь-то и возникает пропасть, разделяющая устремления поэта и толпы, — призыв к свободе больше всего пугает и отталкивает толпу. От увещаний она переходит к нападению, обвиняя поэта в несбыточности его идеалов:

Лишь потому, что вымысел «свобода»
Рифмуется с «народом», ты готов
На нем создать и счастье народа...
А сам-то он гнушается ль оков?!

По мнению толпы, сам народ, оказывается, виноват в своей неволе, а его защитник поэт — всего лишь беспочвенный мечтатель (отсюда и само название стихотворения — «Поэту-мечтателю»). Толпа пытается опровергнуть гуманистический идеал поэта, указывая на то, что завоевание свободы может быть достигнуто только путем насилия, а гуманизм будто бы несовместим с насилием и кровью:

Чем ты зовешь божественное чувство,
Творяще жизнь? Не словом ли «любовь»?
Стыдись, поэт, преступного кощунства, —
Ведь ты его рифмуешь часто с «кровь»!..

Коста неоднократно возвращался к полемике с этими контрдоводами. Он не скрывал, что необходима «кровавая заря для радостного дня», но это вовсе не противоречило его гуманистическому идеалу, — свобода требовала борьбы и жертв, на насилие надо было отвечать насилием, и поэт открыто говорит о своей готовности к такой борьбе:

Я не ищу у сильных состраданья,
Не дорожу участием друзей... .

Я не боюсь разлуки и изгнания,
Предсмертных мук, темницы и цепей. . .

. . . Везде, для всех я песнь свою слагаю,
Везде разврат открыто я корю,
И грудью грудь насилия встречаю,
И смело всем о правде говорю.

(«Я не пророк. . . В безлюдную пустыню. . .»)

Образ подобного поэта-пророка не был, конечно, новостью в русской поэзии, и Коста во многом следовал давней традиции. И если у него встречаются такие заявления, как:

Я не поэт. . . Обольщенный мечтою,
Я не играю беспечно стихом. . .

Или:

Я не пророк. . . В безлюдную пустыню
Я не бегу от клеветы и зла, —

то это говорит лишь о том, что он выступал за общественную активность в поведении поэта-пророка, не смиренного и гонимого провозвестника новых идеалов, а мужественного борца за их осуществление в человеческом общежитии. Он знал, что такого поэта ждет трагическая судьба, но принимал ее как неизбежное. Поэт — пророк и герой или художник, мыслитель и общественный деятель, способный совершить подвиг, — таков истинный поэт в представлении Коста.

Правда, при всей убежденности Коста не только в правоте, но и в осуществимости высоких гуманистических идеалов, его все-таки тревожила одна мысль: чем объяснить, что эти идеалы встречают такое упорное сопротивление и за две тысячи лет не смогли покорить людские сердца, не стали всеобщей нормой человеческого общежития и поведения отдельной личности? (Истоки этих идеалов поэт возводил к эпохе раннего христианства, поэтому их историческую жизнь исчислял приблизительно в две тысячи лет.)

Казалось бы, столь значительное время дает объективный повод признать их неосуществимость, поэт и сам во власти сомнений:

И мысль усталая пред вечною дилеммой
Становится в тупик, — ужели он не бог?
Но разве бы тогда он все углы вселенной
Так ярко озарить своим явленьем мог?

А если это так, то почему с любовью
Две тысячи (уж) лет враждует дерзко зло?
И человечество меч, обагренный кровью,
С проклятьем до сих пор забросить не могло?

И почему его божественное слово
Нас чувством не могло любовным вдохновить
И всех нас, всех людей, для счастья мирового
Как братьев и друзей в одну семью сплотить?

(«Волшебной сказкою, свободным измышленьем. . .»)

На эти недоуменные вопросы поэт находит единственный ответ: два тысячелетия «в сравненье с вечностью — один лишь только миг».

Так разрешается сомненье, выступающее в устах толпы как несомненное доказательство несостоятельности гуманистических убеждений поэта. Вековечное рабство народа объясняется не прирожденной испорченностью человеческой природы, не иллюзорностью возвышенных идеалов, а затянувшимся поединком добра и зла, свободы и насилия. И стало быть, необходима более решительная схватка со злом, а не капитуляция перед ним. Свобода, истинная свобода все еще впереди, и только смелая и самоотверженная битва со злом приблизит ее. Возглавить эту борьбу должны духовные вожди народа — поэты, просветители, герои.

Появление таких людей поэт несколько отвлеченно объяснял воздействием «центробежных» и «центростремительных» тенденций, заложенных в самой психологической природе человека. В письме и Ю. А. Цаликовой от 10 августа 1899 года он писал: «Слабые и неустойчивые величины без малейшего сопротивления отдаются деспотизму... силы, и она в них олицетворяет все, что только есть мерзейшего в жизни. Более сильные величины, не сразу, а лишь после долгой борьбы поддавшиеся роковому притяжению этой силы и вместе с тем не теряющие своей центробежной энергии, олицетворяют героев — благородных и доблестных в меньшей или большей степени — всех жизненных драм и трагедий. . . Величины более стойкие, обладающие еще большей энергией сопротивления этой силе и выработавшие себе раз навсегда известный путь движения, как например земля вокруг солнца, являются обыкновенно выразителями и творцами всевозможных великих нравственных идей и учений. . . Их зачисляют в разряд революционеров, и кто из зависти, кто из злости, мести и страха потери сокровищ, накопленных вековым

рабством, грабежом и насилем, прилагает все старания, чтобы скорее сломать их дерзкое неповиновение». ¹

Олицетворение «мерзейшего в жизни» — эти слова прямо относятся к характеристике толпы, с которой столь упорно и неотступно враждовал поэт. Коста требовал от каждого если не героизма и подвига, то хотя бы честного исполнения своего гражданского долга перед народом:

Ну хоть чем-нибудь дай ему повод признать,
Что врагом ты не будешь народным
И что новых петель не захочешь вязать,
Чтоб ему помешать стать свободным. . .

(«Другу»)

Революционеры же — это поэты и пророки народа, проявляющие «дерзкое неповиновение» существующему злу. Они не только творцы и носители новых идеалов, но и неустрашимые борцы за их осуществление в жизни. Именно эту способность к борьбе выше всего ценил поэт в общественном деятеле. И сам он постоянно подавал примеры подобного самоотвержения.

Вернувшись из второй ссылки (из Херсона), Коста дал резкую отповедь своим либеральным лжедрузьям, увещевавшим его смириться и не губить себя в неравной борьбе с самодержавными властями. Этой морали из кодекса «мещанского счастья» он противопоставил гордую непреклонность поэта-борца за народную свободу. Отвечая «друзьям-приятелям и всем, кто надоедает мне слезоточивыми советами», поэт прямо соотносит их образ жизни с примиренческим поведением толпы и света:

Мне вашего счастья не нужно, —
В нем счастья народного нет. . .
В блестящих хоромах мне душно,
Меня ослепляет их свет. . .
Их строило рабство веками,
Сгорают в них стоны сирот,
В них вина мешают с слезами. . .
Нет, будьте вы счастливы сами,
Где так обездолен народ! . .

. . . Оставьте пустое стенанье,
Советы и вздохи по мне! . .

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 153—154.

Коль вам непонятно сказанье:
«Не думай о завтрашнем дне»,
Служите слепому кумиру,
А мне не мешайте служить
Всеобщему братству и миру...
Отдайте мне посох и лиру, —
Хочу на свободе пожить!..

Такая непримиримость с торжествующим злом обрекала поэта на жизнь, полную тревог, преследований и лишений. Коста трезво смотрел на вещи и понимал, что борьба за осуществление его идеалов, быть может, потребует принесения в жертву собственной жизни. Но и перед этим он не останавливался:

Я не стою любви, я не смею любить, —
Меня родина ждет уже к бою.
Коль врага ее мне не удастся сразить,
То не встретимся больше с тобою.

(«В решительную минуту»)

Так представлял себе Коста долг поэта-пророка, поэта-революционера, борца за народное счастье. Яркие примеры подобного служения народу Коста находил в русской литературе. Ряд его стихотворений, посвященных памяти Лермонтова, Грибоедова, Островского, Плещеева, говорит об этом достаточно красноречиво.

Лермонтова и Пушкина, певцов Кавказа, Коста считал «нашими поэтами», как Россию — «нашей общей родиной». Но и других выдающихся представителей русской классической литературы он зачисляет в стан борцов за свободу и справедливость.

В мировой литературе образы поэтов-пророков нередко ассоциировались с фигурой Христа, который считался провозвестником равенства и братства людей. Вспомним хотя бы стихи Некрасова о Чернышевском:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

(«Пророк»)

Древняя легенда о распятии Христа как бы повторялась из века в век — борьба, начатая две тысячи лет назад, все еще не завершилась победой, люди, наделенные даром поэтического слова и пророческой мысли, все еще обречены на распятие и поношение толпы.

В лирических стихотворениях Коста, написанных на русском языке, тема поэта и его противостояния толпе и свету занимает центральное место. Но для понимания лирики поэта не менее важны и стихи интимного содержания. По своей направленности и по тональности они едины и все говорят об одном — о неразделенной любви.

Не преходящая страсть, не чувственность, а подлинное, захватывающее все существо человека чувство и бесконечное уважение к личности любимой — основные черты интимной лирики Коста.

Любовь — этот акт всепрощенья,
Умеет без меры, безмолвно страдать,
Не знает ни злобы, ни мщенья, —

утверждает поэт в стихотворении «Ты вправе смеяться...», и в этих словах философия его любви, не признающая за любящим никаких прав, кроме права любить бескорыстно и самозабвенно. Взгляд этот, как хорошо было известно Коста, нашел свое выражение во многих произведениях русской классической литературы, особенно в поэзии Пушкина и Некрасова, наиболее близких осетинскому поэту.

И все-таки всепрощенье Коста имело свои границы. Прощалось все, куда устремленья любимой не переходили за тот рубеж, который отграничивал их от «мещанского счастья» толпы.

Истинную любовь Белинский связывал с нравственно развитым человеком, способным заботиться гораздо больше о счастье связанного с ним «отношениями любви предмета, чем о своем собственном», и когда такого человека постигает несчастье безответной любви, то ему «остается сделать только одно: со всем самоотвержением души любящей, со всею теплотою сердца, постигшего святую тайну страдания, благословить *его* или *ее* на новую любовь и новое счастье, а свое страдание, если нет сил освободиться от него, глубоко схоронить от всех, и в особенности от *него* или от *нее*, в своем сердце». ¹

В лирике Коста именно такое отношение к любимой встречаем мы даже в том случае, когда она просто «испугалась» любви гонимого поэта:

Прости! Всю прошлую тревогу
Беру я в спутницы себе, —
Свою печальную дорогу

¹ В. Г. Белинский, (Статьи о Пушкине). — Полн. собр. соч., т. 7, М., 1955, с. 391, 393.

Я с ней пройду, моляся богу
Лишь только, только о тебе.

(«Прости»)

Любовь сама по себе уже счастье даже тогда, когда она не встречает ответного чувства. Несчастье наступает только с утратой любви:

Да, я люблю ее по долгу, по призванию,
Награды за любовь не требуя себе;
Как раб, приветствуя ее посильной данью,
Я награжден, вполне признателен судьбе.
Я счастлив, что люблю; любви одной покорный,
Под знаменем ее пойду на смертный бой,
Пойду на суд толпы холодной, дикой, вздорной
С спокойной совестью, с ликующей душой. . .

(«Да, я люблю ее, но не такую страстью. . .»)

Если же любимая не устоит перед «мещанским счастьем», пошлой жизнью толпы, тогда союз с нею невозможен:

Боюсь, что разлюбить могу ее тогда. . .

Эту мысль Коста высказывал и в письме к Анне Цаликовой от 15 июня 1891 года: «Горе Вам, если Вы с своей отзывчивой душой и способностями заразитесь предрассудками «мишурного света». Воспитайте до непоколебимости Вашу любовь к труду и человечеству, и Вы будете счастливейшею из смертных». А в письме к ее отцу (от 18 февраля 1892 года) он увещевал: «Если счастье в материальном довольстве, то и я советую Вам уговорить Анну Александровну не выходить за меня». ¹

Позднее, 6 декабря 1898 года (в письме к той же А. А. Цаликовой), Коста с грустью отмечал: «Мое горе — горе совсем особого рода: общественно-социальное мое положение настолько «шатко», что всякая попытка связать с своею судьбой судьбу другого живого мыслящего существа — «безумие». Мои жизненные задачи, мои требования и принципы так своеобразны, «непрактичны и химеричны», что навязывать их питомцу существующего теперь порядка — „жесток“, „бесчеловечно“». ²

Вопреки «всепрощению», лирический герой поэта, когда ему не удастся оградить любимую от влияния безнравственной толпы, от

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 13, 18.

² Там же, с. 52.

увлечения предрассудками света, горько жалуется, а порой и резко упрекает ее («Я понял вас... Несмелые упреки...», «Я сделал всё... За призраками счастья» и т. д.).

Тема народа — магистральная тема всего творчества Коста Хетагурова, широко развернутая в его поэмах («Фатима», «Перед судом», «Плачущая скала»). Она объединяет и небольшое количество стихотворений на русском языке. Однако они далеко уступают в достоверно-реалистическом изображении народной судьбы «Ирон фандыру» — самому зрелому творению Коста.

«На смерть горянки», «В бурю», «Сестре», «Не спрашивай, — ты не поймешь, родная...», «Чердак», «Не сможешь ты горю слезами...», «Ночлег» — вот, собственно, все, что можно отнести в русской лирике Коста к произведениям на данную тему. При этом «В бурю» представляет собой первоначальный вариант знаменитой поэмы «Мать сирот», написанной на осетинском языке. «Ночлег» — непритязательная живописная картинка из пастушеского быта. «Чердак» — горестное повествование о судьбе бедного студенчества в столице, жизнь которого во всей ее нищенской неприглядности поэт некогда разделял сам. Все остальные произведения, названные выше, говорят о трагизме женской доли вообще, горянки в частности. Доля горянки столь трагична, что поэт не видит для нее иного выхода, кроме смерти:

Ничего, что она молода,
Кроме рабства, борьбы и труда,
Ни минуты отрадной свободы
Ей бы жизнь не дала никогда...
Хорошо умереть в ее годы.

(«На смерть горянки»)

Некрасов писал о «трех тяжелых долях», доставшихся «женщине русской земли». По мнению же осетинского поэта, судьба горянки еще горше. Верный последователь традиций Некрасова, чьи поэтические формулы порой встречаются в его стихах, Коста сумел воплотить эту тему во всей ее реальной трагичности только в «Ирон фандыре».

4

«Ирон фандыр» — единственная книга стихов Коста на осетинском языке. Она писалась им всю жизнь. В нее вошли произведения, созданные с лета 1885 года до конца творческого пути поэта. Писа-

лись они в разное время и по различным поводам. Публиковать их было негде, — в Осетии в ту пору еще не было периодической печати. Стихи расходились в списках, некоторые из них становились народными песнями, иные попадали в школьные учебники. Но шли годы, и у автора возник замысел отдельной книги. 20 августа 1897 года Коста пишет двоюродному брату: «За время своего лежания (т. е. лечения после операции) я окончательно обработал свои осетинские стихотворения, и некоторые из них, говоря не хвалясь, поразительно хороши. Надо их издать наконец».¹

Однако лишь 3 сентября 1898 года появилась первая беловая рукопись «Ирон фандыра» с подзаголовком: «Думы сердца, песни, поэмы и басни».

Имя национального музыкального инструмента (фандыр — лира, скрипка), использованное в названии книги, подчеркивало органическую связь нового искусства с песенным творчеством народа: песни и поэмы (кадаги), как правило, исполнялись под наигрыш на фандыре. Слово «ирон» (означающее: осетинский) утверждало национальный характер новой поэтической традиции. Кстати говоря, точно так же поступил — независимо от Коста — и первый осетинский поэт Мамсуров Темуьболат (1843—1899), назвавший сборник своих стихов «Осетинскими песнями», а современник Коста, его последователь Сека Гадиев, своей первой книге стихов дал название «Осетинский пастух». Во всех трех случаях поэты рассматривали свое искусство как национальное достояние.

Коста был художником исключительно требовательным как к собственному творчеству, так и к поэтическим опытам своих современников. Когда вышла третья по счету книга осетинской художественной литературы, он возмущенно писал, что в ней «ничего нет — ни техники, ни рифмы, ни даже сколько-нибудь сносного изложения на осетинском языке какой-нибудь осмысленной идеи. Чепуха ужаснейшая! Печатать и распространять такую галиматью — это значит извращать с места в карьер смысл и цели изящной литературы и вкусы жаждущих его иронов... По-моему, лучше еще 100 лет не печатать ничего, чем распространять такую дребедень...»²

Требовательность Коста на первый взгляд кажется чрезмерно суровой — речь ведь шла о первых шагах трех молодых поэтов на заре становления осетинской национальной литературы. Но Коста был иного мнения: он считал, что нельзя строить здание национального

¹ Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 35—36.

² Письмо к Ю. А. Цаликовой от 17 июля 1899 г. — Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, с. 140.

демократического искусства на основе слабых, ученических сочинений, такие опыты могут только задержать развитие молодой литературы, а не подвинуть вперед ее качественный рост. И он был прав: литература — национальное дело, и надо было с самого начала беречь ее достоинство и чистоту, богатство ее демократического содержания и совершенство ее форм.

С этих позиций Коста рассматривал и собственные произведения, готовя их к печати. Ведь одно дело распространение стихов в списках и совсем иное, когда слово освящается печатью, когда народ получает книгу, которая должна жить века как произведение искусства. И Коста вновь и вновь возвращался к совершенствованию своих произведений. Даже беловая рукопись 1898 года не стала наборной, автор решил и в ней кое-что уточнить и улучшить.

Выход «Ирон фандыра» в мае 1899 года явился исключительным по своей значимости и последствиям событием в истории осетинской национальной культуры в целом. Осетинская профессиональная поэзия получила всенародное признание и стала крупнейшим явлением в духовной жизни нации.

«Ирон фандыр» — своеобразная книга и по составу, и по идейно-эстетическим достоинствам. Она стала книгой всенародного чтения. В ней каждый осетин мог найти рассчитанные на него произведения: и старец и школьник, и пастух и интеллигент, и вдова, мать сирот, и девушка, только вступающая в жизнь.

Все произведения книги Коста разделил на три тематических отдела — лирику в широком смысле слова, басни и сказки в стихах, стихи для детей и о детях, которые в начале предполагалось издать отдельно под названием «Мой подарок осетинским детям».

Лирический отдел отмечен многообразием тем и жанров, но самое главное в нем — произведения о судьбе народа, о смысле и назначении поэзии, а также о самой жизни поэта.

В определении смысла и национально-общественного назначения поэзии позиция Коста, пожалуй, осталась неизменной, только более подчеркнута здесь говорится о народности и боевой целеустремленности поэтического творчества.

Народная жизнь и думы народа — источник поэзии, «нива поэта». Поэт приравнивается к пахарю, возделывающему обширное поле, сулящее обильный «урожай» и вдохновенный труд. Но поэт одновременно и вождь народа, и его неоплатный долг — освобождение народа, организация его на битву за свободу. По убеждению Коста, не может быть положения хуже, если нет реальной возможности поднять народ на священную освободительную войну. Мысль эта отчетливо выражена в стихотворении «Раздумье». В точном проза-

ическом изложении она выглядит так: «Младший за мною Не идет на битву. За счастье страны Не лется моя кровь. Влачу, как ярмо, Эпоху рабства».

Еще в начале своего творческого пути Коста отметил в собственном характере такую черту, как увлеченность борьбой («Меня увлекала борьба»). Безоглядная преданность борьбе за народную свободу («Не думай о завтрашнем дне!») действительно была определяющей чертой его человеческого и поэтического характера. Свобода была той «одной, но пламенной страстью», чью власть он только и признавал над собой.

Народ в «Ирон фандыре» представлен поэтом как всесозидающая творческая, но страдающая и угнетаемая сила. Народ — в данном случае родной поэту осетинский народ — обездолен всячески: землю у него отняли, лишили социальных и политических прав, поставили над ним привилегированную кучку правителей и чиновников-грабителей. Но грабят не только чиновники, еще более немилосердно сосут его кровь «сельские пауки». Народ держат в вековом невежестве, унижают и оскорбляют его национальное достоинство. И нет у него заступника, нет вождя, который бы поднял, организовал и повел его на битву за собственное освобождение. Именно это положение народа привело Коста в отчаяние в 1885 году, когда он впервые лицом к лицу столкнулся с осетинской действительностью и в стихотворении «Взгляни!» взывал к одному из отечественных богов как избавителю:

Взгляни ж, Уастырджі, и не дай
Погибнуть измученным людям!

И Коста то выступал как трибун с призывами к безмолвствующему народу, обличал «судей народных» за их бездействие и безучастность, то лирически мягко увещевал и открывал глаза людям на их подлинно трагическое существование, выход из которого находил единственно в непокорстве, в активном сопротивлении, то выставлял на всеобщее обозрение картины народного бедствия, написанные с потрясающей силой. И самые замечательные среди них мы находим в таких произведениях, как «Мать сирот», «Кубады» и «Кто ты?».

Поэт рисует в них довольно типичные для горской действительности ситуации. «Мать сирот» рассказывает о том, как кормилец семьи, отец пятерых малышей, погиб под снежным обвалом. На руках несчастной вдовы остались голодные дети. Это был один из многих подобных же случаев, с которыми сталкивались обитатели

гор. В стихотворении «Зима» Коста также говорит об их распространенности:

Грозят нашим саклям
Обвалы с вершин.
Как предки, мы гибнем
От грозных лавин.

Трагизм «Матери сирот» подчеркнут и простой, но исключительно тревожной концовкой: мать варила для ребят камни, надеясь, что они забудут об ужине в ожидании готовящейся похлебки. И мальчики действительно забылись, уснули. Но что будет делать несчастная мать, когда проснутся утомившиеся и изголодавшиеся дети?.. «Голод ждать не умеет, И обмануть его можно только раз!..» — горестно замечает поэт. И читатель остается перед этим полным отчаяния вопросом.

Не менее трагична и судьба пастуха Кубады в одноименном произведении. Юноша-пастух потерял пятнадцать овец, и, спасая свою жизнь от алдарской мести («Человечья шкура тонка, Алдар не знает пощады, А умереть кому охота?»), он уходит скитаться на чужбине. Лишь на старости лет смог вернуться в родной аул Кубады, уже ослепший и согбенный, одинокий и неприкаянный.

По мысли поэта, трагизм судьбы человека в горских условиях пореформенной поры заключается прежде всего в его одиночестве: он был одинок в условиях патриархально-феодального мира, одиноким остался и в новой исторической ситуации, где господствуют самодержавная власть и хищники буржуазного общества. Одиночество ставит человека из народа лицом к лицу с огромным миром насилия и эксплуатации, с несправедливостью, унаследованной от прошлого, и с новой моралью стяжателей, и он оказывается совершенно подавленным в этом бесчеловечном мире. Поэт убежден, что нет иного выхода, кроме единения одиноких людей. Но это известно только ему, а не страдающей массе народа.

Коста не питал никаких иллюзий относительно уровня народного самосознания. Он многократно призывал к сплоченности и единству народ и его «вождей»:

Мы разбрелись, покидая отчизну, —
Скот разгоняет так бешеный зверь.
Где же ты, вождь наш? Для радостной жизни
Нас собери своим словом теперь...

(«Горе»)

Эта же беспокойная мысль в стихотворении «Без пастуха» обращена к молодежи, которой предстоит изменить весь уклад общественной жизни:

О, если б только над горпой вершиною
Песню пастух твой запел,
Кликнул тебя — и в семью бы единую
Быстро собрать всех сумел!..

Тот же призыв слышится и в «Походной песне» («Дети Осетии, Братьями станем»).

Призывы к единению потому так настойчиво звучат во многих произведениях поэта, что человек из народа в условиях общественной жизни Осетии конца XIX века чувствовал себя отчужденным и беззащитным. Этим объясняется тот факт, что почти все персонажи поэзии Коста одиноки. Одиноким человеком — главным героем произведений Коста о судьбе народа, а самое важное среди них поэма «Кто ты?».

В поэме жизнь горца прослеживается от детства до зрелых лет, но нет в ней «ни минуты отрадной свободы». Сиротская доля в детстве, скитанья по чужим задворкам в отрочестве, пастушеские мытарства в юности и тяжкая, одинокая трудовая жизнь в зрелом возрасте. Даже возможности создать семью у него нет. Жениться по велению сердца он не может, хотя любим и любит, но... требуется большой калым, которого нет у бедного труженика. Остается или примириться со своей горькой участью, или стать на путь преступления, как это сделал Эски-разбойник, герой поэмы «Перед судом». Безымянный герой «Кто ты?» (себя он называет просто Одиноким) по складу своего характера — мирный и добросердечный человек. Подобно Кубады, он глубоко чувствует и обаяние природы, и радость труда. Но ни в ком не может найти сочувствия, ибо никому нет дела до него. Менее всего его положение трогает людей, следующих вековым предрассудкам и обычаям, строго и беспрекословно регламентирующим человеческие взаимоотношения в патриархальном мире. Отсюда — неприкаянность и беззащитность, разрушившие восторженные юношеские мечты Одинокого, его оптимистическое восприятие жизни.

В поэме нет трагической развязки, но нет и сколько-нибудь обнадеживающей перспективы. Как видно, все должно кончиться обычной победой несправедливости и равнодушия. Об этом говорит и грустный финал:

Так видишь, какое
Житье-то, бытье?..

Кто я? Одинокий —
Вот имя мое.

Разъединенность как основная черта народной жизни в социально-исторической ситуации конца XIX века, сплочение народа как средство избавления от социально-экономической, национальной и духовной кабалы — вот основной вывод поэта из его наблюдений над народным бытием и мироощущением, основная идея, которую он больше всего хотел внушить родному народу.

На какую бы тему ни писал Коста, он всюду проводит волнующие его мысли о нищете и бесправии народа, о красоте народной души и безнравственности его врагов, о необходимости оптимистического восприятия жизни, непокорства перед злом и т. д. Поэтому, как ни разнообразны произведения «Ирон фандыра» по тематическим, жанровым и иным признакам, книга эта едина по своей идейно-эмоциональной направленности, она вся пронизана поэтической индивидуальностью автора.

Конечно, и до Коста Хетагурова осетины располагали богатым и разнообразным искусством народной поэзии. До него на родном языке создавал свои талантливые песни Мамсуров Темирболат, хотя они остались неизвестны Коста, поэтому ему пришлось самому заново создавать основы национальной профессиональной поэзии. Осетинская народная поэзия была той вековой традицией, которую он был призван обновить, реформировать, поднять на художественный уровень развитых литератур. Опыт русской поэзии служил для него образцом. На него Коста и ориентировался в процессе своего новаторского созидания. Он тонко учитывал в своем искусстве своеобразие обеих этих традиций.

Как поэт и гражданин Коста вырос на русской художественной культуре, но свой подвиг он призван был свершить на материале и почве осетинской народной поэзии, в пределах специфики и возможностей осетинского языка. В этом была особая трудность его положения как создателя новой традиции.

Впечатляюще сказал об этом в своей юбилейной речи в 1939 году Илья Сельвинский: «Нужно быть самому поэтом, чтобы понять все значение хетагуровского шага. Это был подвиг! Хетагуров ставил на карту все, и прежде всего поэзию. Сумеет ли бедный и простой язык пастухов охватить всю глубину и сложность переживаний русского революционера? Поймут ли его труд темные и неграмотные обитатели осетинских аулов? Не сведется ли судьба поэта к межумочному существованию неудачника, отставшего от одних и не приставшего к другим?»

Хетагуров стоял перед трагедией. И он видел это со всей свойственной ему огромной прозорливостью. Но в том-то и сила больших поэтов, что это прежде всего — люди безграничной веры в будущее». ¹

Если откинуть неверное представление о состоянии осетинского языка в конце XIX века, то положение, в котором оказался Коста, охарактеризовано верно. Он был в исключительно трудной и сложной ситуации: надлежало либо преодолеть сопротивление устно-поэтической традиции творчества и создать новую традицию, обогатив и возвысив поэзию народа, либо же покориться существующей традиции и оставить профессиональную поэзию на уровне прежних полуученических опытов. У Коста хватило мужества и таланта на то, чтобы вызвать к жизни новаторское искусство, богатством содержания и совершенством форм возвысившееся над народной поэзией и покрывшее эстетическое сознание народа.

Победа Коста особенно ярко проявляется в тех случаях, когда он как бы нарочно вступал в единоборство с творцами лучших образцов народной поэзии, обрабатывая отдельные их произведения. В. И. Абаев, имея в виду именно это обстоятельство, заметил: «Поэтические создания народа получали в его руках настолько совершенную, чеканную форму, что, возвращаясь в народ, они вытесняли народные варианты, так что позднейшие собиратели находили их уже только в той форме, в какую их отлил гений Коста. Так случилось, например, с охотничьей песней „Всати“». ²

Однако победу Коста нельзя объяснить силой только его исключительного таланта и прозорливостью мысли. Победить помогла ему сама народная поэзия, психологические и художественные возможности которой Коста усвоил и развил тонко, вдохновенно. Преодолевая традицию, он продолжал ее на более высоком эстетическом уровне. И в этом процессе возвышения традиции народной поэзии великую услугу оказал ему опыт русской поэтической классики. Совершенно прав В. И. Абаев, так объясняющий суть этого явления: «Начало осетинской литературы стало вместе с тем ее недостижимой вершиной. Минувя ступень примитивов, Коста одним взлетом достиг пушкинской чистоты, силы и ясности стиха. . .

Как удалось Коста осуществить такое «чудо»? Несомненно, помимо исключительной одаренности, ему помогло отличное знаком-

¹ «Коста Хетагуров. Сборник памяти великого осетинского поэта», М., 1941, с. 131.

² В. Абаев, Народный поэт Осетии. — «Звезда», 1939, № 9, с. 154.

ство с русской литературой, русскими классиками. У них он учился. Без Пушкина, без Лермонтова, без Некрасова Коста был бы невозможен. Это они помогли ему, минуя младенческие ступени литературного развития, сразу выразить сокровеннейшие думы и чаяния осетинского народа в зрелых и законченных поэтических формах». ¹

Итак, поэтическое новаторство Коста сводится к следующему: на основе народного стихосложения он создал осетинский стих со многими его разновидностями, он дал образцы целого ряда поэтических жанров на родном языке, обработал поэтический язык и его грамматические нормы, дал поэзии новое содержание, новые идеи, создал свой эстетический и нравственный мир, в который народные представления вошли обогащенные идеалами поэта, его революционно-демократическим миропониманием.

Стих в осетинской народной поэзии даже в современных записях едва ощутим. В народной песне, имеющей наиболее четкий ритмический рисунок по сравнению с другими жанрами народной поэзии, ритм словесного текста строго подчинен музыкальному ритму и вне музыкального воплощения теряет свои ритмообразующие особенности. Только в рифмующихся отрезках ясно проступает ритмика стиха.

Коста был блистательным исполнителем народных песен и знал, разумеется, все их особенности, в том числе и ритмические. Но он создал совершенно иной стих, стих силлабо-тонического типа. Это не означало, разумеется, что он привнес в осетинское стихосложение русские стиховые формы. Подобный «перенос» противоречил бы ритмической природе осетинского языка, в котором в отличие от русского ударение не лексическое, а фразовое. Стиховое новаторство Коста основано на законах ритмики осетинской речи.

По верному замечанию современного исследователя русского стиха, «нет ничего в стихе, чего бы не было в языке». ² Но резонно замечание и другого исследователя: «В языке нет самого явления стиха». ³

Ритмика осетинской речи, основные свойства которой суть

¹ В. И. Абаев, Что значит Коста для осетинского народа? — «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института АН ГССР», вып. 10, 1960, с. 74.

² Л. И. Тимофеев, Очерк теории и истории русского стиха, М., 1958, с. 72.

³ Б. В. Томашевский, Стих и язык, М.—Л., 1959, с. 60.

фразовое ударение и относительно малая подвижность ударения, падающего на первый или второй слог от начала фразы, позволяет писать и силлабические стихи. Кстати, силлабика была в ходу и у предшественника (Т. Мамсуров) и у современников Коста, но он решительно предпочел силлаботонику и сумел внедрить ее настолько прочно, что последующие поколения осетинских поэтов навсегда отказались от силлабического стихосложения. Коста создал и утвердил собственным творчеством осетинский вариант силлаботоники.

Стих Коста удивительно гибок и богат интонационно, равно как и ритмически. Ему доступны все нюансы и задушевной лирической медитации и высокой патетики, и сатирической инвективы и спокойного эпического повествования, и еле уловимой иронической улыбки и басенного нравоучения.

В поэзии Коста в принципе все было ново для осетин. Поэтому трагическая коллизия, о которой размышлял в 1939 году Сельвинский, была реальной — поэт мог оказаться в роли непонятого гения. И тем большее восхищение вызывает подвиг Коста, что он за каких-то четырнадцать лет покорила сердце родного народа до того безоговорочно, что был признан не только народным поэтом, но и народным героем.

Трудно исчерпывающе ответить на вопрос: в чем же реальная причина столь скорого и решительного признания поэта, его творчества, его гражданского подвига?

Причина, видимо, заключалась прежде всего в необычайно тесном сродстве поэта с психологическим и эмоциональным миром народа и в таланте воздействовать на него, вызывать живейшую реакцию в ответ на лирическую исповедь или проповедь. Ведь в народе до сих пор самой искренней любовью пользуются не только стихи, в которых говорится о важнейших вопросах народной жизни, но и самые простые песенки и притчи, взятые из народной же поэзии.

Коста прежде всего лирический поэт, причем самый род его лиризма по тональности и эмоциональной напряженности исключительно близок к лиризму народно-героических песен. Поэтому в стихах Коста осетин как бы сразу попадает в знакомый ему с детства родной, привычный мир. Народно-героическую песню осетин переживает как сгусток эмоций, воплощенных в мелодии. Полный текст песни знать было не обязательно — его можно было импровизировать любому исполнителю. Коста же сумел передать в самом тексте эту музыку эмоций, находившую столь горячий отзыв в душе простого горца.

Показательно в этом плане, что откровенно публицистические и политические стихи поэта становились народными песнями, наряду

с чисто лирическими произведениями. Имея в виду эту особенность лиризма поэзии Коста, видный осетинский критик А. Тиболов заметил: «Гражданская скорбь... создает много подводных камней для лирики. Даже таким первоклассным поэтам гражданских мотивов, как Беранже, Некрасов и Шевченко, не всегда удавалось сохранить свойственную истинному лиризму задушевность. У нас Коста обладал великим духом претворения гражданской идеи в лирическое чувство высочайшего напряжения». ¹

Эта лирическая задушевность была вызвана еще и тем, что в своей осетинской поэзии Коста обращался к народу, а не к интеллигентному слою общества, как это мы наблюдаем в его русских стихотворениях, посвященных большим общественным темам. Там, как правило, резкие полемические интонации, негативные эмоции, строго выработанная гражданственная терминология, нравственная и психологическая отчужденность от адресата — в отличие от поэзии «Ирон фандыра». И когда порой под обаянием лирики «Ирон фандыра» невольно возникает чувство предпочтения русским стихам Коста его же осетинских стихов, то надо иметь в виду и разницу в их адресате, и различие в их идейно-эстетической атмосфере. За исключением этой разницы, да, пожалуй, еще некоторой традиционности поэтического языка, русская поэзия Коста ничем не отличается от осетинской лирики. Отрывать русские стихи от осетинских неправомерно. Все они вместе составляют единый поэтический мир Коста Хетагурова. То, что в одном случае он творит в русле высокоразвитой литературной традиции и не на родном языке, а в другом выступает великим новатором, не меняет дела: его творчество было подготовлено знанием и глубоким усвоением традиций. И то, что его новаторский гений ярко проявился в стихах на родном языке и о народной жизни, также было вполне естественно и закономерно.

Конечно, почувствовать величие поэтического подвига Коста по текстам переводов довольно трудно. И дело вовсе не в том, что переводчики отнеслись к своему высокому долгу невнимательно или у них не хватило таланта перевести стихи Коста адекватно оригиналам. Коста — поэт, теряющий в переводе независимо от ранга переводчика столько, что он начинает походить на Антея, оторванного от матери-земли. Но надо надеяться, что со временем найдутся такие мастера переводческого искусства, которые сумеют передать подлинное обаяние стихов Коста, и тогда он предстанет перед русским читателем во весь свой громадный рост. Тогда станет очевидным, что

¹ А. Тиболов. Избранные произведения. Цхинвали, 1964, с. 155.

осетины восхищаются поэзией Коста не в силу его национальной принадлежности, они попросту зачарованы его поэтическим обаянием и великой благородной личностью. Тогда станет понятно чувство немого восхищения, которое испытывают все осетинские стихотворцы, а среди них было и есть немало высокоталантливых людей, к своему великому предку, чувство, о котором до зависти хорошо сказал Пастернак:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Нафи Джусойты

I

CHAPTER I

The first part of the history of the

second part of the history of the

CHAPTER II

The third part of the history of the

The fourth part of the history of the

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

1. ЗАВЕЩАНИЕ

Прости, если только рыданья
Услышишь ты в песне моей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.

Но если бы родине милой
Мне долг оплатить довелось,
Я песни не пел бы унылой
И не было б в голосе слез.

2. РАЗДУМЬЕ

Пусть вечно не знает
Покоя творец!
Оплачь ты, родная,
Мой смертный конец!

Какой я невежда,
Бездельник какой!..
Отец мой, ну где же
Равняться с тобой!..

Отвергнут аулом,
Не дружен ни с кем,
На сходках средь гула
Безмолвствую, нем.

Не слушает младший
Советы мои,
За мною не скачет,
Не рвется в бои.

За родину кровью
Своей не плачу —
И жизни оковы,
Как раб, волочу.

3. НАДЕЖДА

Что брови сдвигаешь,
Отец? Ты не прав.
Зачем принимаешь
Ты к сердцу мой нрав?

Чей сын ожиданья
Отца оправдал?
Кто в юности ранней
Ошибок не знал?

По мне ль твоя слава
И гордая честь?
Оставь меня, право,
Таким, как я есть.

Ружья не держу я,
Не мчусь на коне,
И шашку стальную
Не выхватить мне.

Пусть чванный злословит, —
Ему ты не друг!..
Волы наготове,
Исправен мой плуг, —

То дум моих бремя,
То вещей фандыр;
Несу я, как семя,
Поэзию в мир.

А сердце народа!
Как нива оно,
Где светлые всходы
Взрастить мне дано.

Мой край плодоносен,
Мой полон амбар,
И в море колосьев
Ныряет арба.

Не бойся за сына,
Отец! Ты не прав.
Тебя без причины
Тревожит мой нрав!

4. ВЗГЛЯНИ!

Без матери, брошен отцом,
Отчизну, родительский дом
Оставил я в юные годы.
В чужом, безучастном краю
Весну проводил я свою,
Встречая одни лишь невзгоды.

Сказал я: «Неси же домой —
В Осетию, в край наш родной, —
Свое одинокое горе...»
И хлынули слезы из глаз,
И радость в груди разлилась:
Увидел я снежные горы.

Но более бедным, чем я,
Вернувшись, нашел я тебя,
Народ, изнуренный заботой.
Нет места тебе ни в горах,

Ни в наших привольных полях:
Не стой, не ходи, не работай!

Достойных так мало у нас!
И что мы такое сейчас?
И чем мы со временем будем?
Ползешь ты вслепую, мой край.
Взгляни ж, Уастырджі, и не дай
Погибнуть измученным людям!

5. ГОРЕ

Горы родимые, плачьте безумно.
Лучше б мне видеть вас черной золой.
Судьи народные! Падая шумно,
Пусть вас схоронит обвал под собой.

Пусть хоть один из вас тяжело застонет,
Горе народное, плача, поймет.
Пусть хоть один в этом горе потонет,
В жгучем страданье слезинку прольет.

Цепью железной нам тело сковали,
Мертвым покоя в земле не дают.
Край наш поруган, и горы отняли,
Всех нас позорят и розгами бьют.

Мы разбрелись, покидая отчизну, —
Скот разгоняет так бешеный зверь.
Где же ты, вождь наш? Для радостной жизни
Нас собери своим словом теперь.

Враг наш ликующий в бездну нас гонит,
Славы желая, бесславно мы мрем.
Родина-мать и рыдает, и стонет...
Вождь наш, спеши к нам, — мы к смерти идем.

6. ТРЕВОГА

Мой друг незнакомый, любимый, желанный,
Каким тебя именем мне называть?
С какой я надеждой и думою стану
Хранить тебя в сердце, о родина-мать?

Мне слышатся стоны из скал поднебесных,
Родная земля, из груди из твоей...
И где бы ты ни был, мой друг неизвестный, —
На клич, на призыв мой приди поскорей!

Он слышен и мертвым! И если укрыться
Решил от него ты — позор тебя ждет!..
Осетия! Можешь ли ты покориться
Пришельцу-алдару, что мучит народ?

Быть может, надеждой на правду влекомый,
Доверил ты волю пришельцу тому?
Умри ж от раскаянья, друг незнакомый,
Коль ты хоть на миг покоришься ему!

7. О, ЕСЛИ БЫ!

Сердце открой для отрадных мечтаний, —
Жизнь нелегка.
Много порой возникает желаний
У бедняка.

«Если б, — он мыслит, — неся сквозь невзгоды
Светлую весть,
Мог я снискать себе счастьем народа
Славу и честь!

Если бы в сердце живей отзывалась
Ближнего боль,
Если бы высшим из благ мне казалась
К людям любовь!»

8. ЖЕЛАНИЕ

Блажен, кто с младенческих лет
Был солнцем весенним согрет
И ласкою матери милой!
Блажен, кто весну своих дней
Припомнит под ропот дождей
Осенней порою унылой!

Блажен, кто в родимом краю
Веселую песню свою
С друзьями подчас запекает...
Блажен, кто за плугом своим
По нивам проходит родным,
Кто хлеб для семьи добывает!

Блажен, кто душой и умом
Прославлен в народе своем,
Чье ценится веское мнение!
Блажен, кто отчизну любил,
Кто славой отцов дорожил,
Чье имя не знает забвенья!

9. В РАЗЛУКЕ

От радости, боли твоей я далеко,
Иронской земли молодежь.
Чем ты мне поможешь? Умру одиноко, —
Ты слез на мой прах не прольешь!

Здесь люди чужие чужбины постылой,
Здесь кровь мою каждый сосет...
Не смерти боюсь я, но кто над могилой
Костер поминальный зажжет?

Чей плач надо мною утес зашатает?
Чья девушка всплачет навзрыд?
Чей скорбный фандыр песнь о мертвом сыграет?
Чей конь в мою честь победит?

От радости, боли твоей я далеко,
Иронской земли молодежь.
Чем ты мне поможешь? Умру одиноко, —
Ты слез на мой прах не прольешь!..

10. БЕЗ ПАСТУХА

В чаще со стадом пастух не расстанется,
Зорко за ним он следит...
Что же с тобой, молодежь наша, станется,
Кто же тебя защитит?

Ты, обезумев, как стадо голодное,
В чаще блуждаешь лесной —
Ищешь ты стебли в лесу прошлогодние...
Гибнешь... Что будет с тобой?

О, если б только над горной вершиною
Песню пастух твой запел,
Кликнул тебя — и в семью бы единую
Быстро собрать всех сумел!..

11. ЗНАЮ

Знаю, поплачете, может,
Вы, зарывая мой прах,
И пожелаете в божьем
Царстве мне всяческих благ.

Знаю, барана забьете
И, не грустя уж ничуть,
Вдосталь араки нальете,
Чтобы меня помянуть.

Каждый, наверное, скажет
То, что обычай велит.
После ж — не вспомните даже,
Где я в могиле зарыт.

12. У ГРОБА

Прощай, прощай! Навек избавлен
Ты от заботы от людской.
И, на земле людьми прославлен,
Ты под землей нашел покой.

Народным горем удрученный,
Ты с нами прожил много лет.
И нам светил средь ночи черной
Твоей души и сердца свет.

Всю жизнь любил ты горы эти,
Стремился бедных защитить.
Так чем же нам тебе ответить,
Чем память нам твою почтить?

Все, как один, пойдем мы к свету —
К тому, что ты зажег во мгле.
Но горе нам, что больше нету
Тебя, живого, на земле.

13. СПОЙ!

Песенка твоя, бывало,
Мне работать помогала!
Спой же для меня,
Ты — сиянье дня!..

Бедный люд в неволю отдан...
Спой, пока печаль народа,
Как огонь, дотла
Сердце не сожгла!..

Всех земля кормила... Горе!..
Спой!.. Меня оплачешь вскоре.
Ведь земли уж нет —
Отняли, мой свет!..

Нам над пашней не трудиться...
Спой!.. Учи меня молиться!..
 Не оставь меня,
 Ты — сиянье дня!..

1888

14. ПЕСНЯ БЕДНЯКА

У людей дома просторны,
В них тепло, светло, уют,
А у нас в пещерах черных
Дети мерзнут, слезы льют.

У людей на горных кручах
Раздается свадьбы гром,
А у нас лишь кот мяучит —
Плачет, как над мертвецом.

У людей свисают тучей
С потолка окорока,
А у нас мышей летучих
Не прогонишь с потолка.

У людей о чем забота?
Урожай — на годы, впрок;
А у нас на год работы —
Ячменя один совок.

15. СЕРДЦЕ БЕДНЯКА

Зима и нас не миновала, —
В рост человека выпал снег
И злая стужа с перевала
Уж замостила русла рек.

Здесь ночи тягостны и длинны...
Когда ж весна придет опять?

Поужинав, не жжем лучины:
Нет кизяка — ложимся спать.

Бедняк живет в хлеву и стойлах,
К труду его вниманья нет,
И жесток ложа серый войлок,
И плод забот его — обед.

Все дни его полны трудами
И утешенья лишены,
Но, горю вопреки, ночами
Он видит радостные сны.

16. СОЛДАТ

Пусть он не знает покоя счастливого —
Тот, кто нас хочет сгубить.
Мать, ты не шей мне наряда красивого,
Мне ведь его не носить.

Тонким сукном мою душу угрюмую
Ты не порадуешь, мать.
Унтер ударит, но горе, коль вздумаю
Я отомстить, не смолчать.

Рвался к труду я; хоть доля проклятая —
Горы любил всей душой.
Воином стать бы, но тяжко лопатою
Рыться в конюшне чужой.

Сын твой ни слова не скажет о голоде,
Кашей питаюсь одной.
В угол забьется в казарменном холоде,
Спит на соломе гнилой.

Ты не оплакивай жизнь безотрадную,
Сын твой и сам ей не рад.
Он не попросит черкеску нарядную,
Он не жених, а солдат!

Если убьют меня, нет мне отмщения.
Плачем ты горе утешь —
Ты созови на поминки селение,
Нашу корову зарежь.

Мать, не рыдай над сыновней судьбиною,
Вытри слезу ты свою!
Жадный до жизни, пускай и погибну я,
Но за себя постою!

√ 17. А-ЛОЛ-ЛАЙ!..

Мать легко тебя качает.
Лунный луч с тобой играет.
Ты расти, мужай!
А-лол-лай!..

Ты — моя надежда, сила;
Пусть ягненком белым, милый,
Вечно для тебя
Буду я!

Наша жизнь страшнее ада.
Твой отец не знал отрады,
Весь он изнемог,
Спи, сынок!

Станешь старше — ожидает
И тебя судьба такая!
Для меня мужай!
А-лол-лай!..

Из простой коровьей кожи
Ты б арчита сделал тоже,
Стал бы голодать...
Время спать!

Ты б дрова таскал, усталый,
Я бы вышла и сказала:
«Мать всегда с тобой,
Ясный мой!

А умру — забудь про горе.
Ты люби родные горы,
Их не покидай!»
А-лал-лай!

18. МАТЬ СИРОТ

Коченеет ворон. . .
Страшен бури вой. . .
Спит на круче черной
Нар, аул глухой.

Долгой ночью лучше,
Чем тяжелым днем. . .
Светится на круче
Сакля огоньком.

На краю аула
В брошенном хлеву
Нищета согнула
Горькую вдову.

Горе истерзало —
Где уж тут до сна?
Над огнем устало
Возится она.

На полу холодном
Кто в тряпье, кто так —
Пять сирот голодных
Смотрят на очаг.

Даже волка косит
Голод в холода.
Злая смерть уносит
Слабых без труда.

«Ну, не плачьте! — грустно
Говорит им мать. —
Накормлю вас вкусно,
Уложу вас спать. . .»

Можжевательник саклю
Дымом обволок...
Капают по капле
Слезы в котелок...

«Сгинув под обвалом
В день злосчастный тот,
Ты, кормилец, малых
Обманул сирот.

Пятерых покинул...
Что же впереди?
Лучше б сердце вынул
Из моей груди!

Видно, муж мой милый,
Ты жены умней,
Что бежал в могилу
От семьи своей.

Сохнет и хиреет
Сын любимый твой.
Лечь бы нам скорее
Рядышком с тобой!»

Капают по капле
Слезы в котелок...
Можжевательник саклю
Дымом обволок...

Засыпает младший
Раньше всех детей, —
Изнемог от плача
Лучший из людей.

Подожди ты малость!
Лягут все подряд.
Голод и усталость
Скоро победят.

«Мама, не готово ль?
Дай похлебки! Дай!»

— «Всем вам будет вдоволь,
Хватит через край!»

Котелок вскипает,
Плещет на золу...
Дети засыпают
У огня в углу...

Ветер воет глуше,
Горе крепко спит.
Сон глаза осушит,
Голод утолит.

На солому клала
Малышей своих,
Грея, укрывала
Чем попало их.

И покуда мрачно
Теплилась зола,
Всё насытить плачем
Сердце не могла.

Детям говорила:
«Вот бобы вскипят!»
А сама варила
Камни для ребят.

Над детьми витает
Сон, и чист и тих, —
Ложь ее святая
Напитала их...

19. КУБАДЫ

Что время года?
На месте сходок,
В худой шубенке,
Седой, горбатый,
Сидит Кубады
С фандыром звонким.

Всю жизнь скитался.
Мальцом остался
Один под небом.
Не раз безродный
Плясал, голодный,
За корку хлеба.

Босой, избитый,
В душе — обиды,
И грязь на теле.
Жилось не сладко,
Из трещин в пятках
Лягушки пели.

Нет, согнуть лучше,
Чем биться, мучась,
Добра не зная!
В разлуке вечной
Пусть бесконечно
Ревет родная,

Что не вскормила
Ни солнца силой,
Ни грудью белой,
Что в детстве раннем
Своим дыханьем
Тебя не грела!..

Ему в ненастье
И хлев был счастьем, —
Смотреть на щели
Пастух не станет!
А снег нагрывает —
Поет в пещере!

Овца без пищи?
Он сена сыщет
В чужаке прелом.
Фандыр на диво
Он из наплыва
Березы сделал.

В снегах вершины,
Кусты долины
И дуб угрюмый
К нему клонились
И с ним делились
Заветной думой.

Орла порывы,
Вой выюг тоскливый,
Гром в поднебесье,
Слеза оленя,
Ручья кипенье —
Пастушьи песни.

Свет после бури,
Краса лазури,
Привал для стада,
Луга и воды,
Пора свободы —
Мечты Кубады.

Но счастье кратко:
Беда украдкой
Придет, не спросит —
И волк овечку
К себе за речку
Тайком уносит.

Пастух отличный
Учет обычно
Ведет как надо...
Куда ж деваться
Могло пятнадцать
Овец из стада?

Пропали где-то...
Кому об этом
Расскажешь горе?
Ох, треснуть может
Пастушья кожа:
Алдар запрет!

Предвидя порку,
Овец к пригорку,
К селу пригнал он
И убегает
За склон Адая —
К дигорским скалам.

Страной родною
И Кабардою
С фандыром шел он.
В Калаке с пылом
И пел и пил он
В кругу веселом.

Какие песни!
Что их чудесней,
Добрей, милее?
Сказанья эти
То смехом встретишь,
То грусть навеют.

В пути-дороге
Не слабнут ноги,
А песни — краше.
Вот видим снова
Певца седого
В ауле нашем.

Что время года?
На месте сходок
Он восседает,
Слепой, горбатый...
Но кто Кубады
У нас не знает?

20. КТО ТЫ?

Не спрашивай, кто я:
Ведь я не уздень.
Я не из красавцев,
Хоть в шелк разодень.

Рубашка — холстина,
Бешмет — полотно,
И выткано грубо
Черкески сукно.

Прутом подпоясан,
Арчита ношу. . .
А кто я? Ну, слушай —
Вниманья прошу.

В горах я родился;
Тот хлев еще цел,
Где друг твой впервые
На свет поглядел.

Да, мать родила там
В грязи и в пыли,
Ей места почище
У нас не нашли.

Гнетет оно память
Позора горой. . .
Боялся желать я
Здоровья больной.

А чем еще может
Ей бедный помочь? . . .
Всегда нависала
Над матерью ночь.

Отец мой суровый
Неласков был с ней,
Его покаравшей
Кончиной своей.

Чужая младенца
В свой дом приняла,
И грудью кормила,
И доброй была.

Дитя баловала
Заботой своей, —

Те ранние годы
Всего мне милей.

И так подрастал я
В беспечности сам,
То с пеньем, то с пляской
Бродя по пирам.

Хаматом зову я
Отца своего...
И мне не припомнить
Заботы его.

Он снова женился, —
Пришел я домой,
Всего натерпелся
От мачехи злой...

Подарки — побои,
И ласки — пинки,
Изведал я тяжесть
Жестокой руки.

Отец на охоте
В далеких лесах,
«Жена» побиралась
В соседних дворах.

Как часто охотник
На смерть обречен,
Но редко бывает
В земле погребен.

За туром бесстрашно
Погнался отец
И в пропасти горной
Нашел свой конец.

Вдова для поминок
Луга продала
И всё промотала,
Что в доме нашла.

Такой же беспечный,
Что мог я сказать?
Кто «мать» свою смеет
В делах поучать!

Я понял, что в мире
Я всё потерял.
Что плакать? По нраву
Уж взрослым я стал.

А мачеха в доме
Отца прожила
Недолго — и к мужу
Другому ушла,

Оставивши сына
В убогом дому.
Пора добывать, мол,
На хлеб самому.

На что ж я был годен!
Грусти не грусти —
Пришлось за харчи лишь
Ягнят мне пасти.

Скитался по саклям,
На сене я спал,
Но всё же «да-да-дай»
С весельем певал.

Работал подпаском,
Служил пастухом —
За скудную плату
Ячменным зерном.

В облезлой папахе
И в бурке бродил,
Но — досыта хлеба!
И я не тужил.

Побои и ругань —
Я всё испытал,

Но всё же «да-да-дай»
Всегда распевал.

Шестнадцатилетний
Мужчина почти,
Я всласть наигрался
В недолгом пути.

Косы заостренный
Изогнут конец,
Луга ею бреет
Искусный косец.

Как руки могучи,
И как я косил! . .
Но отчего луга
Я не возвратил.

Куда же девались
Луга-то мои?
Они, мол, давно
На поминки пошли.

Тогда я батрачить
Пошел к богачам.
О, что я не делал,
Кем не был я там!

Какого я только
Не знал ремесла!
Поклажи носил я
Быстрее осла.

Могу похвалиться,
Что сукна я ткал
И золотом славно
Порой вышивал.

Работал иголкой,
Как девушка, я,
И тешила песня
«Да-да-дай» меня

О, как своенравно
Ты, сердце! .. Ему
Не скажешь: ты плохо —
Не верит тому.

Уносится к солнцу
Счастливой мечтой,
А ночью захочет
Скитаться с луной.

Откуда у сердца
К свободе порыв?
И что так пылает
В нем кровь, забурлив?

Красавица! Доля
Завидна ее, —
Навек она сердце
Пленила мое.

Как вспыхнуло чувство?
Безумцем я стал.
Что далее будет —
Совсем я не знал.

То нежность при встрече
Я чувствовал к ней,
То вдруг ненавидел
Сильней и сильней.

Я близких чуждался,
Бродил наугад,
И был я в работе,
Был жизни не рад.

С аулом враждуя,
Бежал от друзей. . .
Как, сердце, бороться
Мне с властью твоей!

Зачем на беднягу
Глядела она,

Зачем проходила,
Как солнце ясна?

Зачем так бывала
Со мною мила?
Зачем кобуру мне
В подарок дала? ..

Прости, издалека
Веду я рассказ, —
В печали и в горе
Бывал я не раз.

Зима нам — могила:
Обвал — не зевай!
Нам осень — работа,
Весна — это рай.

Приветливей солнце,
Пушистей лоза,
Уже не ворует
Солому коза.

Снег тает на склонах,
И реки мутней,
И птицы летят к нам,
И дни всё длинней.

Вот бабочек время...
А сердце — в огне.
Эй, молодец! Где ты,
В какой стороне?

Способности ныне
Свои докажи,
Родителям строгим
Калым покажи.

Калым приготовлен
Батрацким трудом,
Что должно, по счету
Находится в нем.

Я солью с ладони
Скотину кормил.
Для будущей тещи
Коня я добыл.

Им всем угодил я
Теперь наконец,
Но сердце тревожит
Невестин отец.

И горд, и надменен
Пред бедными он;
С соседями груб он,
А дома — Сырдон.

Не даст никому он
Ни слова сказать,
А девушка чахнет,
И мучится мать.

С любимой поладил,
Мать — с нами. Но ведь
Отец у любимой —
Взъяренный медведь.

Господь не услышал
Молитвы моей,
И я растерялся,
Стал ночи темней.

А сватом кто будет,
Кто бросит дела?
О, как одинок я,
Как жизнь тяжела!

Где свата найти мне?
И страшно мне то,
Что бранью он встретит
Почтенных сватѳв.

А сам не пойду я, —
Боюсь, не стерплю,

С отцом я заспорю
И всё погублю.

А милую сватать
Стал кто-то опять,
Но этому, впрочем,
Противится мать.

И девушка слышать
Не хочет о том
И косы терзает,
Льет слезы ручьем.

Зовет меня громко:
«Любимый, ты где?
Не дай мне погибнуть
В позорной беде!»

Так видишь, какое
Житье-то бытье? ..
Кто я? Одинокий —
Вот имя мое.

21. ПРОЩАЙ!

Вот и готов я... Арчита и посох.
Пояс из прутьев — обнова в пути.
Рваная шуба... Не надо вопросов.
Сам говорю тебе: «Что же, прости!»

Ты от меня, дорогая, устала,
Взгляд твой давно мне сказал: «Уходи!»
Знаю, как сердце твое трепетало,
Слышу твой стон, затаенный в груди.

Вот и прощай, ты теперь уж не будешь
Требовать впредь от меня ничего.
Милая, нынче мой взгляд позабудешь,
Завтра забудешь меня самого.

Если ж, когда ты опустишь ресницы,
Явится образ ушедшего прочь

И беспокойному сердцу приснится
Смерть его в поле в холодную ночь,

Ты не пугайся: не горе, а счастье
Он принесет тебе, этот кошмар.
Кто-то возьмет на себя все напасти,
Чтоб от тебя отвести их удар.

Выберу в спутницы злую судьбину,
Чтоб поскорей с ней конец обрести. . .
Ты ж позабудь про печаль и кручину,
Не сожалей, не горюй и — прости!

22. ПРОПАДИ!

Пропади ты, жизнь,
А с тобой и я!
Ты беду мою
Поглоти, земля!

Как змея, напасть
В грудь мою впилась.
Пропади ты прочь,
Злого горя власть!

Изменила мне
Черноокая. . .
О, позор ты мой!
О, жестокая!

Перед богом ты,
Нет, не мне клялась,
Не мое кольцо
Носишь ты сейчас.

Эх, красавица,
Почему меня
Обманула ты?
Бог тебе судья!

Зиму горскую
Под весенний звон
Вспоминаю я,
Как прекрасный сон.

Иль друг другу ласк
Не дарили мы?
Или нежных слов
Не шептали мы

В ожидании
Благодатных дней?
Как же счастлив был
Я в любви своей!

Кто берет тебя
Навсегда в свой дом,
Пусть дерзнет меня
Превзойти во всем:

Бить без промаха,
На коне лететь,
В горском танце плыть
Или песни петь.

Нарядил в шелка —
Удивил аул!
Стан твой поясом
Дорогим стянул.

Не застежек — звезд
На груди игра...
В золотом шитье
Ты ловка, быстра.

Пропади ты, жизнь,
А с тобой и я!
Ты беду мою
Поглоти, земля!

Как змея, напасть
В грудь мою впилась.
Пропади ты прочь,
Злого горя власть!

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

23. ВСАТИ

Сладко спать усталым.
Утром сон могуч. . .
Но скользит по скалам
Первый солнца луч.

Всё кругом искрится,
Ветерок шумит,
Пробудились птицы. . .
Только Всати спит.

Старца исполина
В мире кто древней?
Вот вершин вершина —
Он живет на ней.

Снег сияет горный,
Манит вышина.
Там — нихас просторный,
А на нем — сосна;

С диких скал свергаясь,
Воет водопад;
С двух сторон, сверкая,
Ледники висят.

Камни с грозным шумом
Катятся с высот. . .
Лесом скрыт угрюмым,
Всати здесь живет.

Стол его, сиденье —
Всё хрусталь сплошной.
Из рогов оленьих —
Ложе под сосной.

Шерсть на нем медвежья,
Козий пух лежит...
Всати утром свежим
Беззаботно спит.

Машут лопухами
Семь безусых слуг,
От него упрямых
Отгоняя мух.

Семь других румянят
На огне шашлык,
Жарят бок бараний —
Будет рад старик...

Гром гремит. Поднялся
С ложа Всати: «Оф!
Я проголодался.
Завтрак мой готов?..»

Жирный бок грызет он...
Вдруг запели: «Гей!
Видно, вновь — охота!
Погляди скорей!..»

Юноша проворно
К леднику шагнул,
Со стремнины горной
В бездну заглянул

И без промедленья
Крикнул: «Слышу зов —
Прсят там оленя
Девять ездоков.

Кони статны. Ружья
Крымские блестят...

„Нам олень бы нужен,
Пусть худой!“ — кричат».

«Щеголям блестящим,
Глупый, откажи:
Знай — у бедных тащит
Скот им Уастырджи.

Пусть он угостит их
Краденым скотом
Да аракой, сытых,
Напоит потом! . . .»

Солнце на закате.
Песни вновь слышны,
Вновь прислужник Всати
Смотрит с вышины.

«Семерых на круче
Вижу бедняков,
Слышу их могучий,
Их веселый зов:

„О, уарайда, Всати!
Щедрый, к нам явись.
Ты на горном скате,
Погляди-ка вниз!

Ты оленя, Всати,
Дай нам в добрый час.
Ты на горном скате,
Ты взгляни на нас! . . .“

В стареньких арчита,
С плохоньким ружьем,
Головы побриты
Сломанным серпом. . .»

«Гей, юнец! Рогатых
Выпусти скорей,
Угости как надо
Дорогих гостей».

24. НА КЛАДБИЩЕ

Нет похорон многолюднее наших...
Нынче такая толпа провожавших
С гор и долин собралась —
Не повернуться на кладбище было.
Старый и малый стояли уныло,
Низко над мертвым склоняясь.

Был он единственный сын у слепого
Старца. На черных носилках сурово
Вот он замолк, недвижим.
Труженик вечный, старательный в деле,
До Алагирского был он ущелья
В каждом селенье любим.

С детства не знал он еды прихотливой,
Не щеголял он в черкеске красивой,
Да и не думал о том.
Скромный, со всеми он был одинаков.
И до сего дня сафьянных чувяков
Мы не видали на нем.

Нынче ж, смотрите, нарядный какой он!
Как у невесты, затянут и строен
Мертвого юноши стан.
Золото ярко блестит на одежде.
Разве оружие на юноше прежде
Кто замечал из крестьян?

Шашка с винтовкой под стать удалому.
Часто ль, однако, с оружием из дому
Он выезжал, как джигит?
Сроду коня у него не бывало!
Только теперь, когда время настало,
Конь перед мертвым стоит.

Женщины стихли... Умолкло рыданье...
Вот к мертвецу, соблюдая молчанье,
Старец подходит седой.
Темную кожу изрыли морщины,
Шапка, шубенка — из старой овчины...
Думаем: кто он такой?

Вытер он слезы дрожащей рукою,
Выпростал бороду перед толпою,
Взял за уздечку коня.
Смолкли мгновенно пред ним разговоры,
Люди печально потупили взоры,
Плачет, рыдает родня.

Старец на краткое замер мгновенье,
Вдруг он собравшимся на удивленье
Стал не спеша говорить.
Коль не смогу повторить его речи,
Друг мой, земляк мой, прошу издалече
Слово мое не хулить.

Вот что сказал он: «Пусть будет до века
Память светла о тебе! Человека
Взор благородный угас.
Всем ты снабжен для поездки спокойной!
Конь лишь тебя не нашелся достойный
В этот безрадостный час.

К Тереку люди отправились ныне,
Ищут по пастбищам, ищут в пустыне,
Ищут по краю земли.
Много они берегов обскакали,
Много они табунов обыскали,
Но ничего не нашли.

Видишь, на небе, под желтой горою,
Три скакуна вознеслись над тобою,
Уастырджи три жеребца?
Ближнего схватишь — ударит копытом,
Дальнего схватишь — он волком несатым
Кинется на молодца.

Средний блуждает по области неба.
Дай ему корку ячменного хлеба.
Славный Курдалагон бог
Быстро коню изготовит подковы,
Будут узда и попона готовы —
Всё для загробных дорог.

Первенцем месяца конь твой крылатый
Будет обуздан. Сын солнца, вожатый,
Даст тебе плеть и седло.

Сядь на коня! Не споткнись, опускаясь,
Не торопись, по горам поднимаясь,
Если коню тяжело.

Три пред тобою предстанут дороги.
Нижняя — это дорога тревоги, —
Кровники ездят по ней.
Мститель на верхней дороге таится.
Средней дороги твой конь не боится, —
Значит, и ты не робей.

Это — твой путь! Он не шире тропинки.
Встретишь ты мост из одной волосинки —
Птице не перепорхнуть.
Пусть от бедра твоего иноходца
Мяса кровавый кусок оторвется, —
Так его нужно хлестнуть.

К царству усопших в мгновение ока
Перенесет тебя конь твой с востока, —
Солнца увидишь заход.
Скажут: «Темно! Уходи, мол, отсюда!»
Сердце — ходатай твой. Веруя в чудо,
Ты помолись у ворот.

«Боже! — воскликни. — Создатель вселенной!
Солнце в его красоте несравненной
Снова на небо верни!»
Солнце усопших на небе заблещет,
Створы железных ворот затрепещут,
И распахнутся они.

Знает сын солнца дорогу до рая.
Всё он тебе объяснит, проезжая,
Видя смущенье твое.
Вот ты заметил собаку у входа.
Лают щенки, не давая прохода,
Воют из чрева ее.

Спросишь ты: «Что это за небылица?
Суке не время еще оцениться»

Молвит сын солнца в ответ:
«Женщина эта всю жизнь воровала, —
В образе суки ей время настало
Мучиться множество лет».

Дальше — срамное: мужчина с женою,
Шкурой вола покрываясь одною,

Перед тобою лежат.
Не поделить покрывала им, — сдуру
В разные стороны дергают шкуру,
Голые оба до пят.

«Что это значит? — ты спросишь в испуге. —
Что они делают, эти супруги?»

Скажет тебе проводник:
«В жизни у этой бессовестной пары
Были одни перебранки и свары,
До ночи слышался крик.

Их разнимали соседи и дети. . .
Так и в загробном живут они свете!»
Дальше коня погони.

Новых супругов увидишь ты скоро.
Маленькой заячьей шкурой без спора
Плотно укрылись они.

«Как же им заячьей шкурки не мало?
Шкуры вола драчунам не хватало!» —
Ты пожелаешь узнать.

«Верные эти супруг и супруга
Крепко при жизни любили друг друга, —
Здесь они любят опять».

Рядом, закутана шкурой гадюки,
Мечется женщина, вытянув руки,
Жабья косынка на ней.
Постницей раньше она притворялась,
Но втихомолку сама издевалась
Над поминаньем людей.

Камень посыпался вдруг над тобою —
Штопает женщина скалы иглою,
Хочет заштопать овраг.
«Что с ней?» — «Была и она своенравна:
Платье любовнику штопала славно,
Мужу зато кое-как.

Здесь за грехи свои платит сторицей!»
Дальше! На женщине жернов вертится,
Мелет каменья в песок.
Денно и ночью, не переставая,
Крутится жернов, беднягу терзая...
«Что был у ней за порок?»

«Мельницу эта держала воровка.
Красть научилась муку она ловко.
Долго ли, сам посуди!»
Дальше скачи! Молоко водопадом
В кадку, подобную горным громадам,
Бабища льет впереди.

Сыру сварить она хочет для пира!
Глянь, а кусок получается сыра
Чуть ли не меньше яйца.
«Так ей и надо, бессовестной скряге!
Сколько бы ни было сыра в корчаге —
Не угостит пришлеца».

Рядом — другая в посудине жалкой
Сыра кусок подцепила мешалкой,
Да не поднять, — тяжело!
«Эта, хотя ей еды не хватало,
Без угощенья гостям не давала
Ехать в другое село».

В лучшую область спеши, человек!
Вот пред тобой на пригорке далече
Муж восседает с женой.
Гнется от тяжести стол перед ними,
Полон напитками он дорогими,
Сладкой уставлен едой.

Пища тут с перцем, чеснок в изобилье!
Сколько б супруги ни ели, ни пили —
 Не иссякает еда.
«Что за диковина!» — «Эти супруги
Были бедны, но чурек свой в лачуге
 С нищим делили всегда».

Дальше! Какой-то бедняга в теснине
Носит камень в бездонной корзине,
 Мучаясь около скал.
«Раньше, поклявшись отцовскою верой,
Мерил он землю неправильной мерой,
 Пашни соседние крал».

Дальше! Увидишь: в траве превосходной
Бык из упряжки, худой и голодный,
 Бороду старца жует.
«Что ж он гнушается свежей травой?
Разве, питаясь сухой бородою,
 Будет он сыт, сумасброд?»

«Старец, быка раздобыв для упряжки,
Раньше соломы жалел для бедняжки,
 Вот он и кормит быка».
Дальше! Шумит океан безграничный.
Некий изгнанник в скорлупке яичной
 Заперт среди островка.

Мостик к изгнаннику лезвия уже.
Дверь как ушко у иголки к тому же.
 «Этот несчастный злодей
Жил нелюдимым, детей он с женою
Выгнал и с жизнью простился землею,
 Отгородясь от людей».

Далее, в лед провалившись по шею,
Кто-то вопит пред тобой: «Леденею!»
 — «Гибнет за что он во льду?»
— «В час неурочный на каждой неделе
Крался, бывало, к чужой он постели,
 Вот и попался в беду».

Башня стоит вдалеке ледяная.
В башне три старца сидят, замерзая
В креслах своих ледяных.
Льдистые палки пристали к десницам,
Льдистые бритвы гуляют по лицам,
Режут, уродуют их.

«Как объяснить мне виденье такое?»
— «Некогда были в судилище трое
Выбраны целой страной.
Судьи, однако, пристрастными были,
Князю в угоду ребенка судили
Не сообразно с виной».

Блещет дворец серебром на поляне.
В нем восседают на белом диване
Трое пришельцев с земли.
Знает твой спутник земной их обычай:
Эти судили без всяких различий,
Правду святую блюли.

Вот наконец и окрестности рая.
Плетью взмахни ты, и конь твой, играя,
К цели тебя донесет.
Слезешь с коня ты — детей вереница
Перед тобой на лугу веселится,
Бегая возле ворот.

Всадника радостно каждый встречает,
Кто за отца, кто за мать принимает...
Все-то босые они!
Этот — без пояса, тот — без папахи,
Эти — по горло задрали рубахи.
Ты их не тронь, не гони.

Ты приласкай их, поправь им одежды.
Стань у дверей, не теряя надежды,
Помощи жди от ребят.
Если привратник начнет упираться,
Дети невинные не согласятся
В рай уходить без тебя.

Семь золотых распахнутся затворов.
Мудрый Барастыр, царь мертвых, без споров
Пустит достойного в дверь.
Вот и в раю ты! Пусть будет до века
Память светла о тебе! Человека
Образ ты сбросил теперь.

Пусть же тебе этот плач безысходный,
Этот великий почет всенародный
Снимут унынье с чела!
Тесно с землей ты сольешься родимой.
Ждет тебя конь. О тебе, наш любимый,
Память да будет светла!»

Длань от уздечки отвел говоривший.
«Вечная память тебе, опочивший!» —
Все повторили кругом.
Справили гости обряд поминанья,
Но еще долго неслись причитанья
Над погребальным холмом.

25. БЕЗУМНЫЙ ПАСТУХ

Глянул вниз пастух с обрыва,
Глаз не мог отвести:
Плыло облако лениво,
Белое, как шерсть.

Он в мечтах своих унесся
К облаку тогда.
Крикнул на краю утеса:
«Прыгну я туда,

Пусть пасутся на закате
Овцы надо мной,
Я поплю на этой вате
Белой, шерстяной...»

Над обрывом наклонился,
Крикнул: «Гоп!» — и вдруг
Полетел, как мяч... Разбился
Вдребезги пастух!

26. РЕДЬКА И МЕД

За глаза, мой друг, не смейся:
Осуждай пороки смело!
Будь ты лучше всех на свете,
Но бахвалиться — не дело!..

Сколько кушаний приносит
Добрая хозяйка! Что же,
Ведь и бедный стол порою
Честь оказывает тоже.

Всё же кушанья гордятся
И себя возносят сами,
И одно чернит другое,
Похваляясь пред гостями.

Ну, шашлык, пирог — понятно!
Им всегда почет и слава.
Но вот задын, хомыс, бламык —
Вы бы помолчали, право:

Вас едят — и то спасибо!..
Вот и редька нос задрала.
Горло жжет и дурно пахнет,
О себе же мнит немало!..

Так однажды на обеде
Редька тоже очутилась
И украдкой, потихоньку,
Близко к меду подкатилась.

«Как вкусна я с этим медом!» —
Прошептала редька гостю.
«Обо мне не беспокойся:
Я и без тебя ведь вкусен!» —
Мед ответил ей со злостью.

27. ВОРОНА И ЛИСИЦА

Кто с лестью дружит,
Тем быть с бедою.
Впрок не послужит
Добро чужое.

Ворона сыру
Кусок достала, —
Знать, дань ей сырый
Пастух оставил.

В одно мгновенье
На ветку села
И с вождельем
На сыр глядела.

Она не стала
Спешить с едою.
Всё рассуждала
Сама с собою:

«Теперь за дело
Примусь, пожалуй».
Но сыр не ела,
Во рту держала.

На запах сыра
Пришла лисица.
Не прочь проныра
Тут поживиться.

Она подходит
К вороне ловко
И глаз не сводит
С нее, плутовка!

Давно известны
Ее повадки.
«Как ты прелестна,
Мой светик сладкий!

Ты всех милее
Своей красою.
Кого посмею
Сравнить с тобою?

Какая шея!
А крылья эти —
Они чернее
Всего на свете!

И в песнях, знаю,
Ты мастерица!
Спой, дорогая
Моя царица!

Ну, спой хоть малость,
Мой цветик редкий!»
— «Кар-кар», — раздалось
Внезапно с ветки.

И так царица
Ворона пела,
А сыр всё ела
Кума лисица.

Что ж, пой, дурная,
Пой, не смолкая!

28. ВОЛК И ЖУРАВЛЬ

Волком мы жадного
Все называем.
Волчьи обычаи
Твердо мы знаем.

Как-то дохлятиной
Серый увлекся,
И от напасти он
Не уберется.

Ел он без устали,
Слопал немало.
Кость неожиданно
В горле застряла.

Волк задыхается,
Бьется в испуге,
Но улыбается
Счастье зверюге.

Вот журавлиные
Крылья мелькают.
Птицу о помощи
Волк умоляет.

«Что за диковина?
Я ль ему нужен?
С давнего времени
С ним я не дружен».

Свеликодушничал
Рыцарь пернатый.
«Что с тобой случилось,
Что тебе надо?»

Волк не шелохнется,
Стонет от боли,
Гаснущим взором
О помощи молит.

Тут длинноклювому
Много ли дела?
Кость злополучную
Вынул умело.

Волку ожившему
Молвил крылатый:
«Что ж, за спасение
Надобно плату!»

Волк ошетинился:
«Как же посмел ты?»

Хватит и этого,
Что уцелел ты!

Вижу, не ценишь ты
Волчье участие, —
Голову вытащил
Целой из пасти.

Наглость подобную
Ныне прощаю!
Впредь же помиловать
Не обещаю!»

29. ГУСИ

Хоть славен твой предок —
Будь сам молодцом.
Хочу вам поведать
О чуде одном.

Дигорец когда-то
Гусей продавал.
Хорошую плату
Алдар обещал.

Вот выводок длинный
Дигорец ведет,
Гусей хворостиной
Безжалостно бьет.

Но тут появился
Какой-то бедняк.
К нему обратился
С мольбою гусак.

«Послушай, прохожий,
Будь нашим судьей».
— «Чем бедный поможет?»
— «Поможешь. Постой».

Гогочут сердито:
«Хозяин-злодей

Таких знаменитых
Изводит гусей!

Нам больше нет мочи,
Хозяин суров,
Почтить нас не хочет
В честь наших отцов.

Спасли наши предки
От гибели Рим». —
«Что ж, подвиг их редкий
Веками храним.

А сами-то, сами
Чем вы хороши?» —
«Что станется с нами,
Ты лучше скажи.

Ведь предкам-то нашим
Почет и хвала». —
«А подвиги ваши,
А ваши дела?»

«В далекие годы. . .»
— «О предках опять!»
— «Признали народы. . .»
— «Довольно болтать!

Что сами свершили,
Ответьте скорей!»
— «Не помним, забыли».
— «Ну, хватит речей!

Шумим бесконечно
О римских гусях —
Пусть здравствуют вечно
В раю, в небесах.

А ныне всем миром
И вас ведь мы чтим:
Вы славитесь жиром
И пухом своим».

Я дальше тревожить
Гусей не берусь.
Обидеться может
Какой-нибудь гусь!

30. ОЛЕНЬ И ЕЖ

Как-то олень от беды неизбежной
Лесом бежал и, примчавшись к реке,
Раненый, рухнул на камень прибрежный,
Изнемогая в предсмертной тоске.

«Ох! — обратился к нему в это время
Еж из травы. — Ты ведь ранен, мой брат!
Что ж, и ежей благородное племя
Гонит ловец — будь он проклят стократ!»

«Горе! И ты с благородным оленем
Хочешь сравниться, завистливый еж?
Пусть же постигнет мой род истребленье,
Если с твоим хоть немного он схож!»

31. ПОСТНИК

Человек за плугом скромно
И чуреком сыт.
Ох, давненько о скоромном
Старый кот грустит.

Не резвится дни и ночи,
Песенки забыл,
Сказок сказывать не хочет,
Свет ему постыл.

Выколи глаза такому,
До смерти избеи,
Лишь одно подай худому:
Накорми скорей!

Есть спасенье не простое —
Нартовское, но

Свисло, ноздри беспокоя,
С потолка оно:

Бычье сало — будто взяты
Маковки в жгуты, —
Блеском яблок желтоватых
Дразнит с высоты.

Так разбухло, что местами
Треснуло, и кот
Щурится, вода усами:
«Нет, не съест и в год!»

А собака, видя сало,
Принялась ворчать
И, оскалась, прорычала:
«Что, глядишь опять?»

Вздروгнул кот, от злости хмурый,
Ухо почесал.
«Все-то вы, собаки, дуры! —
Он врагу сказал. —

О былых своих уловках
Я забыл совсем —
И скоромного, воровка,
Я, как ты, не ем!»

32. ПРИВЫЧКА

В рошу однажды пошел я с кремневкою,
Так, из причуды досужей:
Мало сказать, что охочусь неловко я, —
Трудно охотиться хуже!

Чтобы стрелять — и не думал я этого,
Не было в ней и заряду.
В сакле ржавела кормилица дедова
Лет уж четырнадцать сряду.

Пробуя колос, дивясь высоте его,
Так я добрел до покоса.

Люди косили луга богатеевы,
Хор их гремел стоголосо.

Вижу внезапно я: некто меж грядками
Крадется тайно и молча,
Сам безоружен, но странен повадками,
Да и походка-то волчья!

Должен узнать я намеренье скрытое!
Крадучись, следую с краю
И впереди его кем-то забытую
Сумку в траве замечаю...

Да поразит лиходея проклятие!
Корки нужны ль ему эти?
«Эй ты! Не стыдно ль такого занятия?» —
Крикнул я, кражу заметя.

Вор задрожал, оглянулся в смущении...
Вижу кого же я? Старца!
Окаменел он, и я в изумлении
Также безмолвен остался.

«Слушай, — сказал наконец он таинственно
(В горце узнал земляка я), —
Бросил ведь я воровство ненавистное;
Сумка — моя, не чужая».

«Сумка твоя, так зачем тебе красть ее,
Если рассудим мы здраво?»
Он застыдился как девица красная:
«Это одна лишь забава».

Больше прибавить ему было нечего
(Кровником стал я, быть может),
Кто б захотел убедить сумасшедшего —
Даром себя потревожит.

«Слушай же, пользуясь встречею нашей,
Сердца открою причуду.
Слаще мне пища, когда у себя же я
Кражею завтрак добуду.

Это влиянье заклятья какого-то!
С детства обучен я краже.
Красть уже нет ни причины, ни повода,
Но не избавлюсь от блажи!

Лучшие яства не будут отрадою,
Сытый покой мне не нужен;
Не успокоюсь, пока не украду я
Хитростью собственный ужин».

Вырвав ружье у меня (мы заметили
Волка у темной лощины),
Выстрелил, и — небеса мне свидетели! —
Волк покатился с вершины.

Хлопнул в ладоши я: здорово слажено!
Чудо иль только сноровка?
Я ведь сказал, что была не заряжена
Ржавая эта кремневка!

33. ЛИСА И БАРСУК

На барсука свою злость неумную
Точит лисица.
До Арджинарага ходят вдвоем они
В поисках птицы.

Если же где-нибудь вдруг повстречаются, —
Многим на диво —
Словно родные, друг к другу ласкаются
Нежно, игриво.

Возле утеса в вечернем безмолвии
Встретились снова.
«Не выношу я, — плутовка промолвила, —
Больше спиртного.

Мимо владений бродила я княжеских,
Тихо шагая.
В ноздри ударила душною тяжестью
Влага хмельная.

Видно, поминки справляли, и пряное
Сусло осталось.
Даже от запаха стала я пьяная,
Дурно мне стало. . .»

Но, оборвав эту выдумку подлую
Хитрой лисицы,
Вниз покатился барсук. Вот уж под гору
Быстро он мчится.

«Что с тобой, друг мой, какую ты силою
Сшиблен, как в драке?»
— «Пьян я: слова твои, кумушка милая,
Крепче араки!»

34. МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА?

С песней крестьяне проходят ущельями.
Но обрывается песня косца:
Глядь — на дорогу из горной расщелины
Череп упал и рука мертвеца.

Шутят крестьяне: «Видать, запустелые
Наши дороги бедняге должны». —
Челюсти черепа белые-белые
Мертвой усмешкою обнажены.

Облит закатом, он блещет как золото.
Смотрят глазницы, подобно очам. . .
Вдруг ядовитую струйкою холода
Страх пробежал у крестьян по плечам.

«Люди! — отшельник сказал из пещеры им. —
Что у вас там?» — «Вот хотим угадать,
Кто потерял этот череп ощеренный:
Доблестный муж или честная мать?»

«Экий народ! Вы глупее, чем перепел! —
Старый отшельник воскликнул шутя. —
Кто был хозяином этого черепа,
Вмиг разгадает теперь и дитя!»

Всем нам особые свойства завещаны,
Каждому нраву — примета своя.
Кто же, скажите, не знает, что женщины
Перед поминками не устоят?

Чтобы узнать, то мертвец иль покойница,
Надобно крикнуть: «Вот тело лежит!»
Череп мужчины и с места не тронется,
Женщины череп стремглав побежит!»

Мало крестьяне поверили этому:
«Видно, смеется над нами старик!»
Но пренебречь не посмели советами
И над находкою подняли крик:

«Слава Хамбитте и царство небесное!
Как он, бедняк, умирал тяжело! . . .»
В черепе вдруг что-то щелкнуло, треснуло,
И покатился он тропкой в село.

35. В ПАСТУХАХ

Сказка

В пастухах бедняк когда-то
У циклопа жил.
Изнемог в нужде проклятой,
Выбился из сил.

У циклопа блещет злобой
Круглый глаз со лба,
Как амбар — его утроба,
Как совок — губа.

Не давал расти он стаду,
Поедал приплод.
«Ну, — сказал бедняк с досады, —
Дай-ка мне расчет!»

«Добрый путь! Неволить силой
Я, брат, не привык. . .»

Стиснув зубы, прикусил он,
Наш бедняк, язык —

И назад со стадом в горы,
На цветущий склон. . .
Лопнет пусть пастух, который
Лжет, что счастлив он!

Наш пастух не знал отрады,
Отдыха не знал. . .
Как-то раз он к ночи стадо
С пастбища пригнал.

Великан вернулся тоже.
Красен, распален,
На ногах стоять не может.
Видно, выпил он.

Издевается, рыгая:
«Ты, брат, молодец.
Мне богатство сберегая,
Пас моих овец.

Рассчитаться за услугу,
Знать, приходит срок. . .
Мстить нам не за что друг другу.
Слушай-ка, дружок:

Девять хитрых есть загадок,
Девять, как одна!
Отгадай ты их — и стадо
Получай сполна.

А не то, так даром, значит,
Пас ты стадо. Так?»
— «Ладно, коль нельзя иначе!» —
Говорит бедняк.

«Кто ж один, скажи? Ответить
Тут бы каждый смог».
— «Бог один на белом свете!
Кто же, как не бог?»

«Ну, а два? Что значит — пара?» —
Тот спросил тотчас.
— «Стережет пастух отару
Парой черных глаз».

«Ну, а тройка — что такое?»
— «Что? Треножный стол.
Он накормит и напоит
Всех, кто в дом вошел».

«А четыре?» — «То четыре
Сына. Искони
Все работы года в мире
Делают они».

«Ну, а что, скажи, пятерка?»
— «Смысл яснее дня:
Пять сынов, что в жизни зорко
Берегут меня».

«Ну, а шесть? Посмотрим, что ты
Скажешь в этот раз!»
— «Шесть я раз просил расчета
И слышал отказ».

«Что же значит семь? Скорее
Дай-ка мне ответ!»
— «Семь голов иной имеет,
А ума в них нет».

«Ну, а восемь что? Попробуй
Отгадай, хитрец!»
— «Восемь лет я, глядя в оба,
Пас твоих овец».

«Пустяковые загадки
Зря я задавал.
Дай разгадку мне девятки!» —
Великан сказал.

«Далеко я был в девятом».
— «Где ж, скажи, ты был?»

— «Есть страна Терк-Турк, и я там
Целый год бродил».

«Через море ж нет дороги!»

— «Я достал коня:

Старый овод хромоногий
Перенес меня».

«Море высохло за лето?

Что ж, твой конь не плох».

— «Нет, орел над бездной этой
Пролететь не мог».

«Есть орлята, что осилит

Их цыпленок, брат!»

— «Ну, чтобы вола носили —
Нет таких цыплят!»

«Если с мышь теленок ростом,

Так ли тяжело?»

— «На спине мышонка просто ль
Уместить село?»

«У колдуньи и курятник

За село сойдет!»

— «Обежав курятник, вряд ли
Заяц устает».

«Над зайчонком скалишь зубы,

Ишь какая прыть!»

— «Не успеет пусть и шубы
С шапкой износить».

Кровь пусть тот застудит в жилах

В нартский зимний мрак,

Кто из шкуры зайца сшил их, —
Нартов Урызмаг».

«Он для нартов мал как будто?»

— «Знай — он вот какой:

На ноге его сойдутся
Девять петухов».

И тогда ему их пенье
Не тревожит слух». —
«Что же в том за удивленье?
Он, быть может, глух?»

«За семью ли за морями
Стог бекасы вьют,
Жвачку ль под семью горами
Комары жуют —

Всё услышит, всё расскажет
Этот человек.
Если вру — так стань сейчас же
Камнем здесь навек!»

Пораженный тайной властью,
Как пастух сказал,
Великан с раскрытой пастью
Каменный стоял.

Стал бедняк дышать свободней,
Всё теперь его.
Мне барана дал сегодня
Тоже одного...

Как ничем там поживиться
Мне не довелось, —
Так и вам сто лет трудиться,
Чтобы всё сбылось!

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

√36. КИСКА

Киска, киска, кис!
Где ты, отзовись! ..
В теплой шубке ходит,
У огня лежит,
Сказки говорит,
Песенки заводит.

✓ 37. ШАЛУН

Ястреб злой,
Улетай!
Волк, не вой,
Спать мне дай,
Не буди чуть свет!

Сыч ночной,
Пропади!
Зайчик мой,
Не гляди —
Реву: хлеба нет!

✓ 38. ШКОЛЬНИК

«Чей сын ты?»
— «Толая!»
— «Где был ты?»
— «Всегда я
В школе бываю с утра.

А-бе-ве
Читал я,
Бе-ве-ге
Писал я:
Грамотным стать мне пора».

✓ 39. КОМУ ЧТО

Делу — свой черед.
Детям — мать, уход.

Стадо — пастухам,
Пастбище — стадам.

Ржи — о жницах весть,
Хлебу с солью — честь.

Малый грех — прощай,
Сердцу — ласку дай.

Время — врач тоски.
Буйным — синяки.

Всем лентяям — кнут,
Шустрым — рыба в пуд.

√40. БУДЬ МУЖЧИНОЙ

Встань рано, будь мужчиной,
Умойся, помолись:
«О господи единый,
Защитой мне явись!..»

Будь в доме хлеба вволю,
Ты б свой имел кусок.
А нет — так будь доволен
Чуреком, мой сынок!

Скорей беги учиться,
Да сумку не забудь!
Не будешь ты лениться —
Найдешь свой верный путь!

Учись, дружок, с охотой,
Чтоб мудрость всю познать,
И с радостью работай,
Чтоб человеком стать!

√ 41. СИНИЦА

Зимою глухою
В какие края
Стремится синица —
Рыбачка моя?

У птицы синицы
Где сестры, где мать?
И мне бы по небу
Как птице летать!

✓ 42. ЛАСТОЧКА

Ты с песней чудесной
Весной золотой
Веселье в ущелье
Приносишь с собой.

Так пой на просторе,
Над скалами рей,
Не ведая горя,
Нужды и князей.

✓ 43. ВЕСНА

Снег тает, проталин
Уж много кругом...
Вот склоны зеленым
Покрылись ковром.

Живою листвою
Деревья блещут,
За нивой, в обрывах,
Потоки шумят.

Вон бабочку мальчик
Поймал... Пожалей:
Весны она гостья,
Дай волю ты ей!

✓ 44. ЛЕТО

Созрела, поспела
На солнце морковь.
У тына — малина, —
Лукошко готовь!

Съедобные травы
Сбирай на обед.
Уж места орехам
За пазухой нет.

Готовы у горца
Серпы и плетни...
Будь счастлив, земляк мой,
Во все свои дни!

√45. ОСЕНЬ

Желтеют, темнеют
Трава и кусты,
На скатах щербатых
Туманы густы.

Вот сжали, убрали
Мы хлеб наконец;
Колотят, молотят...
Стричь будут овец.

Садами, стадами
И хлебом полна,
О, как ты богата,
Родная страна!

√46. ЗИМА

Суровы покровы
Ненастной зимы;
В туманах, в буранах
Скитаемся мы.

Грозят нашим саклям
Обвалы с вершин.
Как предки, мы гибнем
От грозных лавин.

Бедняк сиротливый
Работы лишен,
И к небу взывает
В отчаянье он.

Если бы пел я, как нарт вдохновенный,
Если б до неба мой голос взлетал,
Все бы созвал я народы вселенной,
Всем бы о горе своем рассказал.

48. ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

Дети Осетии,
Братьями станем
В нашем едином
И дружеском стане.

С нами высокое
Знамя народа.
К свету, с победною
Песней похода!

Правдой и мужеством
Путь проторите!
Трусов, бездельников
Прочь прогоните!

49. ПРИСЛУЖНИК

Привал в лугах с густой травой.
Пастух, ты песен не поешь.
Но что случилось с тобой,
О чем горюешь, молодежь?

Кто на похлебке рот обжег,
На воду дует, говорят,
И тот, кто стать шпионом смог,
Во тьму упрятать имя рад.

Со стадом, горец, ты идешь,
Не устает от высоты.
Скажи мне, наша молодежь,
Зачем живешь недружно ты?

Как не заметить в стаде нам
Бычка — красавца молодца? ..
Не тайна — честных имена,
Не тайна — имя подлеца.

Скажу: средь русских вырос я —
Вина их не держал во рту. . .
Чего стесняться нам, друзья?
Поговорим начистоту.

А что сказать? Куда ни шло,
Скажу, что говорил всегда:
Прислужник — вот позор и зло,
Погибель наша и беда!

Волчиха стадо в поздний час
Разгонит по полю, во тьму.
Прислужник сделался сейчас
Алдаром, стал главой всему.

Сыта волчиха, всё же ей
Охота рвать еще овец.
Прислужник клеветой своей
Позорит родину, наглец.

Не может даже скот считать
Чужой семью своих коров.
Прислужник ближнего бросать,
Как злобный враг, в огонь готов.

Отарой лучшей, скажем так,
Свою считает и овца.
Прислужник, серый как ишак,
Плевков не может снять с лица.

Больные все в одном равны:
Лишь о своей болезни спор.
Прислужник для моей страны —
Ее болезнь, ее позор!

50. ПРИВЕТ

Не дал нам счастья бог! Оковы
Пришлось нам в жизни обрести.
Благодарить достойным словом
Тебя не в силах мы. Прости!

Наш разум беден, сердце слабо,
А речь — как путник, что устал.
Ты был отцом народа, славой
Вершины гор перерастал.

Твое бессмертно будет имя,
Сто жизней прожил ты земных.
Делами добрыми своими
Большую башню ты воздвиг.

51. УПРЕК

Кроткого обидишь —
Он и ущемлен!
А упрямцу, видишь,
Твой упрек смешон.

Как-то Мишка начал
Волка укорять:
«Серый, честь ты нашу
Замарал опять.

Всех ты силой губишь...
Скор ты на язык,
А просить не любишь —
Нападать привык.

Если б стал обжора
Гордостью зверей,
Ты тогда, без спора,
Был бы всех знатней!

На обжорство злое
Честь я не менял.
Ребра от побоев
Кто из нас терял?

К овцам даже в стужу
Не кидался я.
Что позорней, хуже,
Чем судьба твоя?»

Волк ответил: «Это
Правда!» — и ушел.
И тотчас же где-то
Закричал козел.

52. О ЧЕМ?

Счастье... О чем я, безумец, мечтаю?
Где в наше время счастливица найдем?
Нет, не о счастье я к богу взываю...
Друг мой, о чем?

53. ТОСКА ВЛЮБЛЕННОГО

Души моей свет!
Потерян твой след...
Ах, лучше б не знать мне тебя!
Ни пляски твоей,
Ни темных бровей
Забыть не могу я, любя.

Улыбкой своей
Была ты милей,
Чем солнышко вешнего дня.

А твой разговор,
Твой ласковый взор
Страдать заставляли меня.

Что будет со мной?
Горю я тоской,
Ты в сердце моем лишь одна!
Отрада, покой
Пропали с тобой,
И жизнь без тебя не нужна!

54. ДУМА ЖЕНИХА

Как солнце дня
Ты для меня!
Тебя бы лучше не встречать!
Ты запоешь,
И в сердце дрожь,
Мне не унять ее опять!

Твоих речей
Звенит ручей
В душе взволнованной моей!
Жить без тебя
Не в силах я,
Готов я жертвой стать твоей!

55. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Когда б с порога вашего
И я пропел бы вам:
«Хадзаронта, хадзаронта,
За вас я жизнь отдам!»

Когда б ты вышла из дому,
Ту песенку любя,
Одним глазком бы, солнышко,
Взглянул я на тебя!

Когда была б ты ласковой
Со мной наедине,
Когда б спросила: «Кто же ты?» —
И улыбнулась мне,

Тебя схватил бы за руку,
Тебе сказал бы я:
«Я тот, кто жизнь отдаст тебе,
Любимая моя!»

56. НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

Хозяева, хозяева!
К вам путники — узнали вы?

С улыбкою всегдашнею
Введите в вашу башню их!

Хозяева, хозяева!
К вам Новый год пожаловал.

Пусть, добротой охваченный,
Он даст вам всякой всячины!

Ловцу — оленя сильного,
Его хозяйке — сына бы,

А мне от пира вашего
Рожок бы только башила!

Хозяева, хозяева!
К вам путники — узнали вы?

К вам Новый год пожаловал
С дарами небывалыми!

57. ХЕТАГ

Сказание

Горе! Как быть мне? Что делать мне, бедному?
Уастырджи, слава тебе, справедливый!
Дай для фандыра струну золотистую —
Волос один из Авсурговой гривы!

Горе! Как быть мне с фандыром расстроенным?
Кто ты, земляк мой? К тебе мое слово:
Не осуждай ты меня, не осмеивай,
Коль на фандыре сыграю я снова!

Люди в своей похвальбе одинаковы:
Хвалят себя и плохие нередко,
Люди хорошие хвалят и кровника,
Кто перевозносит невестку, кто предка.

Как же мне быть? Что же делать мне, бедному?
Кто бы ты ни был, земляк мой, — вниманье!
Лучше — пока похвалиться я вздумаю —
Слушай о предках далеких сказанье.

Это случилось давно ли, недавно ли —
Нам достоверно сказать невозможно.
Сам из десятого я поколения —
Правнук несчастный, бесславный, ничтожный.

И от зари до зари их без устали
Гнали аланы всё дале и дале,
Шли по пятам чужеземных воителей,
Всех из родимого края прогнали.

Много побили пришельцев из Азии,
Вражьи сокровища забрали немало...
Вот возвращаются весело воины —
Знамя уже над горой засияло...

Кто из мужчин оставался в селениях?
Старцев одних там сковало бессилье,
Все остальные встречать победителей,
Сакли счастливые бросив, спешили.

Люди стремились к селенью Иналову,
Каждый хотел добежать побыстрее.
Ты посмотри: вся равнина волнуется,
От ребятишек и женщин пестрея...

Конь под Иналом белее, чем облако.
Сколько с Иналом соратников старых:
Славный Солтан с абазехским владетелем,
Таубии, ханы и просто алдары.

Вот и Курган Состязаний наездников.
Песня вдали раздалась боевая.
Гикнули старые — кони воспрянули,
Словно орлы, на вершину взмывая.

Вот на ковре три подушки турецкие:
Выше — Солтана, пониже — Инала,
Князь абазехский на самую низкую
Сел, но с достоинством, как подобало.

Сели все трое. Как юноши стройные,
Сзади их стали другие дворяне...
Поле качнулось — то воинство прибыло
И развернуло свой стан при Кургане.

Смотрит Инал — сыновья его спешились,
Младшим поводья вручили при этом

И, поклонившись ему, седовласому,
К знатым гостям обратились с приветом.

Старцы воскликнули: «Доброго здравия!
Быстро вернулись! Ну, как воевали?»
— «Даугам слава! — им Бяслан ответствовал. —
Волку мы здорово клык обломали!»

Тут обо всех беспримерных событиях
Бяслан поведал подробно, толково:
«Верьте: зарекся насильник отброшенный!
К нам за добычей не сунется снова!

Всё, чем набил он повозки походные,
Всё, что награбил он, алчный и хитрый,
Он побросал и бежал опозоренный,
По полю мчался побитою выдрой.

Звал понапрасну Мамай своих воинов, —
Что им владыка, покрытый бесславьем?
Сами сдавались!.. Забрали мы пленников:
На молотье их работать заставим!

Как рассказать обо всех этих подвигах?
За год едва ль половину б смогли мы!
Более всех удивил своей доблестью
Братец наш младший — наш Хетаг любимый!»

«Слава вам, дауги! Слава вам, дауги! —
Провозгласили старейшины громко. —
Этого мужества слава великая
Громом докатится и до потомков!»

Любы Иналу сыны его статные,
Встал и глядит на отважных, пригожих.
Как же тут князю сидеть абазехскому,
Если Солтан поднимается тоже?

Глянул Инал на войска свои верные,
Руку простер к ним, как солнце сияя.
Стихло кругом. И воскликнул он: «Воины!
Вам благодарность от нашего края!

О храбрецы! Голова моя старая
Разве оплатит бесстрашие ваше?
Ныне вы все мои гости желанные!
Что ж, отдохнем, попируем, попляшем!»

«Слава! Обилье Иналу!» — послышалось.
Воинам в скалах откликнулось эхо.
С песнями мимо Кургана зеленого
Строй нескончаемый ехал и ехал...

2

Длилось неделю веселое пиршество.
Сколько народу в гостях у Инала!
Пламенных плясок таких, угощения
В мире от века еще не бывало!

В симде кружились нарядные девушки,
Ликом прекрасные, стройные станом.
Больше всего любовались тут все-таки
На дочерей ненаглядных Солтана.

Старшая дочь, Чабахан бледнолицая,
Томная, тихая, словно в печали.
Взгляд ее с ночью соперничал лунною —
«Лунным сияньем» не зря ее звали.

Младшая дочь, Залихан быстроглазая,
Всех веселее танцует, играет.
Видишь — еще ведь девчонка, а всякому
Сердце, как солнце, она озаряет.

Свататься к ним отовсюду торопятся
И уздени, и князья, и султаны;
Замуж пора, да на ком остановишься:
Много богатых, но нету желанных.

Шесть сыновей у Солтана у старого,
Только любил дочерей он сильнее:
Девушки грубого слова не слышали,
Душу он им отдавал, их лелея...

Ни в Кабарде, ни в Осетии не было
У молодежи веселья такого.
Но не до пляски на празднестве Хетагу —
Хмурый сидит, не промолвит ни слова.

Смотрит народ на него, удивляется:
Если с врагами он бился так смело,
Что за невзгода героя изранила?
Что за кручина его одолела? ..

В верхней кунацкой сидели старейшины,
Старый Солтан тамадою назвался.
Пил он, как нарт, веселился, как юноша,
В здравицах, словно пророк, изливался.

«Гей, позовите-ка Хетага! — отрокам
Крикнул Солтан после здравицы строго. —
Ели и пили мы вдоволь, а младшие
И не пригубили турьего рога!»

Хетаг явился и стал в отдалении.
«Ближе!» — кивнул тамада головою.
Хетаг приблизился. После моления
Старец сказал ему слово такое:

«Хетаг! О солнце! С отцом твоим доблестным
Долго в соседстве и дружбе я прожил. . .
Нынешний праздник богатства дороже нам!
Что там богатство? Он жизни дороже!

Храбростью, мужеством всех ты порадовал,
Страшен ты был иноземцу-злодею.
Перед отцом твоим, перед старейшими
Я говорю: буду жертвой твоею!

В жены, о Хетаг, возьми себе дочь мою,
С нею и жизнь я отдам свою даже.
Сам ты из двух дочерей себе выбери:
Лучшую сердце тебе да укажет!»

«Слава!» — восторженно гости воскликнули,
Так что качнулись высокие стены.

Чаши наполнились — всем он понравился,
Этот Солтана подарок бесценный.

Вдруг — тишина: сам Инал подымается.
«Слушай, Солтан мой, прославленный воин,
Хоть подружились мы в битвах бесчисленных,
Может, подарка мой сын не достоин?»

«Вот еще! — снова воскликнули старые. —
Больше, чем Хетагом, кем же гордиться?
Должен, Солтан, породниться ты с Хетагом:
Лучший ведь зять на земле не родится!»

«Хетаг! О солнце! Будь счастья владыкою, —
Молвил Солтан, — ты вернулся с победой!
По сердцу ль скромный мой дар победителю?
Прямо об этом Солтану поведай!»

Хетаг молчит, словно горем настигнутый...
Нет, никогда не бывало такого!
Стихла кунацкая: разве когда-нибудь
Не находил он достойного слова?

«Славный Солтан! Бог да будет свидетелем! —
Хетаг вздохнул, всей душою болея. —
Если на счастье мне создал он старшую,
Есть ли на свете подарок милее?

Только... я сам тут могу быть свидетелем:
Стать мне женой Чабахан не решится.
Дайте ей волю... Судьбой что начертано,
То не минует ее, то свершится».

«О, над моими не смейся сединами!
Правды лучи да не будут сокрыты.
Кликните девушек! Если согласие
Даст Чабахан, то ее уличи ты!»

Вся молодежь поспешила в кунацкую.
Хетаг во двор незамеченным вышел.
Юношей выгнали. Девушки замерли —
Стало в кунацкой просторней и тише...

Всё поняла Чабахан оробелая, —
Вмиг исказилось лицо, побледнело.
Дышит прерывисто, будто бы при смерти.
В землю глаза опустила несмело.

«Слушай, — Солтан обращается к дочери, —
Правды не бойся, стесняться не надо —
Ты на одно дай ответ мне, пожалуйста:
Замуж ты выйти за Хетага рада?»

Вздригнуло бедное сердце у девушки,
Словно от выстрела сердце газели.
Щеки ее помертвевшие вспыхнули,
Ярко, как звезды, глаза заблестели.

«Если тобою, отец мой, я отдана
На посмеянье народа родного,
Что же скрывать мне, чего же стесняться мне —
Слушай мое откровенное слово:

Нежно и крепко друг друга любили мы,
Слили мы наши мечты и желанья.
Кто б разлучил нас на свете? Но дауги
Нашу судьбу начертали заранее.

Слушай: когда он учиться отправился,
К ишоку-греку попал он в Тавриде.
К вере суровой склонили там Хетага.
Сам рассказал он, что слышал и видел.

Слышал ученье монахов-наставников,
Видел он крест, мертвеца воскресенье.
Книги там Хетаг читал христианские.
Принял, сказал он, Христово ученье».

Девушка смолкла... бледнеет и падает...
Младшая к ней подбегает в испуге —
И, словно мертвую, в девичью комнату
Дочку Солтана уносят подруги.

Все — и Солтан, и Инал, и соратники —
Окаменели... Беда приближалась.

Каждый подумал, ни слова не вымолвив:
«Как бы сейчас не дошло до кинжала!»

«Солнышки, сядьте! — Солтан успокоил их. —
Эта бесхитростность от воспитанья.
Сгинь голова моя: умная девушка,
Жарко любя, лицемерить не станет!»

3

Кончилось пиршество. Гости расходятся,
Благодарят, восхваляют Инала:
Как только силы хватило прислуживать?
Где столько яств и напитков достал он?

Вот за ограду арбу кабардинскую
Вынесла пара быков круторогих,
И, джигитуя, промчались наездники
Мимо нарядной арбы по дороге.

Грянула песня: Солтана селение
Вскоре у моста открылось их взглядам,
Дочки Солтана, печальные, бледные,
Едут в арбе, и кормилица рядом.

Мать им навстречу родимая выбежит
С добрым приветом и лаской во взоре.
Вмиг по глазам обо всем догадается —
Ей ли не чуют дочернего горя...

Старый Солтан у Инала замешкался —
Потолковать о случившемся деле.
Сели под дубом на травку зеленую,
На реку долго в раздумье глядели.

Молвил Солтан: «Нам не надо печалиться!
Может, еще образумится Хетаг,
Не отречется от веры от дедовской.
Завтра спроси, — что он скажет на это?»

Слышал ты, друг мой, ответ моей дочери?
Так! Но любовь разве дело пустое?

В мире все девушки ей позавидуют:
Хетага — головы наши не стоят!»

Молвил Инал: «С давних пор твоим родичем
Стать мне хотелось. Клянусь, что родни нам
Лучшей не надо!.. Но что тут поделаешь?
Как породнишься ты с христианином?»

Молвил Солтан: «Скачет сердце отцовское
К счастью, что конь к заповедному месту.
Делу счастливому — слово короткое:
Завтра же вашу берите невесту!

И — по рукам!..» И проходят во двор они,
Как женихи, не горюя нимало...
«Добрых вам дней!» На коне, приосанившись,
Старый Солтан покидает Инала.

Едет Солтан, по бокам его семеро
Храбрых джигитов... Пылится дорога...
Вдруг стариков на нихасе увидел он
И возле них задержался немного.

«С радостным сердцем домой возвращаюсь я, —
Громко сказал он, — прощайте, соседи!»
— «Рады тебе мы, — ответили старые, —
Даже когда ты далеко уедешь.

Пусть же к поре, как мы снова увидимся,
Славного внука родят тебе дети!»
— «Лучшего я не слышал пожелания,
Хоть и немало я прожил на свете.

Что же, пусть внука даруют мне дауги!..
Внука? Пусть девять подарят мне боги!
Благодарю вас, живите во здравии!»
— «Доброй дороги! Счастливой дороги!..»

ОТДЕЛЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

II

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
NATHANIEL BENTLEY

II

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
NATHANIEL BENTLEY

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
NATHANIEL BENTLEY

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
NATHANIEL BENTLEY

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

58. ДА, Я УЖ СТАР...

Да, я уж стар... Ты смотришь боязливо
На впалые глаза, на борозды морщин...
Мой стан рисуется в отрепьях некрасиво,
Немало в волосах растрепанных седин.
Могила для меня — небес желанный дар...
Да, я уж стар...

Но ты пойми, — я в пору малолетства
Жестоко был лишен капризною судьбой
Священной радости ликующего детства:
Играть под звуки песни матери родной...
Но что судьбы слепой безжалостный удар!
Да, я уж стар...

Но знай, как я, безумно расточая
Цвет юности в пыли научных мелочей,
Провел ее, как сон, людей и жизнь не зная,
Не встретив никогда сочувственных очей,
Не ведая любви волшебных грез и чар...
Да, я уж стар!..

Но ты пойми, как целый век напрасно
Вокруг себя друзей и братьев я искал,
Как в одиночестве изныла грудь безгласно,
Как, жизни не вкусив, я жить уж перестал;
И смерти лишь прошу теперь у неба в дар...
Да, я уж стар!..

Да, я уж стар!.. Ты смотришь боязливо
На впалые глаза, на борозды морщин...
Мой стан рисуется в лохмотьях некрасиво,
Немало в волосах растрепанных седин...
Могила для меня — бесспорно, лучший дар!
Да, я уж стар!..

21 мая 1886

59

Высокий барский дом... Подъезд с гербом старинным...
Узорчатый балкон... стеклянный мезонин...
Закрытый экипаж... ящик с пером павлиным
И с медною трубой кондуктор-осетин...

Швейцар с подушками... лакей с дорожной кладью...
Уложена постель... увязан чемодан...
Шкатулка с письмами, с заветною тетрадью...
Вуаль пунцовая и стройный гибкий стан...

Толпа друзей, родных... Улыбки... пожеланья...
Формальный поцелуй... платок для мелких слез...
Последнее «прощай»... воздушные лобзанья...
Протяжный звук трубы... неровный шум колес...

Густая пыль столбом... И понеслась карета!
Бульвар... чугунный мост... базар, застава...
степь...

Безумная!.. Постой!.. Не покидай поэта,
Не разрывай надежд и грез заветных цепь!

Не разрозняй аккорд могучий песнопенья,
Не разрушай алтарь и жертвенник святой
Чистилища души и храма вдохновенья, —
Вернись, несчастная!.. Безумная, постой!..

Между 1887 и 1891





60. ВЛАДИКАВКАЗ

Когда б на струнах звонкой лиры
Умел искусно я играть,
Огнем пылающей сатиры
Сердца я стал бы прожигать.
Но так как муза не приходит
Ко мне на зов мой никогда
(Она, должно быть, не находит
Во мне талантов, господ),
То я смиренно отрекаюсь
На лире побренчать хоть раз.
К тому же, где теперь вращаюсь?
Не мир поэта, не Парнас!
Не в том, друзья, однако, дело...
Я угодить хотел бы вам —
Писать... О чем? Не знаю сам.
Писать мне прозой надоело,
А потому пишу стихами.
Быть может, это и смешно,
Но не беда! Ведь между нами
Искать формальности грешно.
Итак, по воле провиденья,
Заброшен я в Владикавказ,
И вам свои я впечатленья,
Друзья, поведаю сейчас.
Окрестность — дивные картины!
А город — новый Петербург!
Его лишь портят осетины
Своим кварталом из лачуг.

В палатах каменных царят,

В обширных погребах хранят
Неистоцимые запасы
С бурдючным запахом вина...
Не знаю, право, чья вина,
Но и съестные здесь припасы
Подчас воняют бурдюком...
Здесь два моста, но под мостом
Не бьется Терек здесь задорно,
Как барс в темнице, озлобясь,

Напротив, он несет покорно
Навоз, помой, сор и грязь...
Здесь дивно на чалме Казбека
Заката луч всегда горит,
Хотя об этом говорить
Не стоит, право, — спокон века
О том поэты нам поют.
Писать, что здесь на площадях
И падаль, и навоз гниют,
Что лишь на сытых лошадях
Возможно рисковать по ним
Попасть во вторник на базар, —
Этюд давно приелся, стар:
Все города болеют им.
Широких улиц здесь мощенных
Немало терским гольшом,
Зато нет вовсе освещенных,
И граждане лишь только днем
По ним бестрепетно снуют,
А ночью не ходи — убьют.
Ведь дорог керосинный свет,
А денег, денег у них нет.
Убить, положим, могут вас
И на квартире. Говорят,
Что скоро весь Владикавказ
Сожгут, ограбят, разорят
Ингуш, чеченец, осетин
И персиянин; что их шайка
Идет на зверство, как один.
Ну как с ней быть! Поди поймай-ка!
Ночь не проходит без того,
Чтоб не убили «генеральшу»,
Чтоб мелко не скрошили в кашу
«Семейство бедного Моро», —
Ну, словом, панику наводят.
А сколько у мещан уводят
Злодеи лошадей, коров!
Но нелегко поймать воров.
Не думайте, что нет у нас
Полиции, ночных обходов.
О, в этом наш Владикавказ
От городов других народов —

Хоть папуасов мы возьмем —
Ушел далеко, и Маклай
Миклуха, доблестный во всем,
Отстал от нас, что твой Китай.
Нет, мы сильны в делах охраны!
Здесь полицейские, как враны,
Летят охотно на скандал.
Там, смотришь, пристав в шею дал
Чиновнику; там, как из душа,
С трубы пожарной обдают
Честной народ, толкают, бьют;
А там несчастного ингуша
Семь бравых молодцов ведут.
Вот на извозчике везут
Совсем непьяного пьянчугу:
Мол, выпится. Гляди, с испугу
Дрожит пред «властью» мужичок:
Не хочется идти в клоповник.
Но вот пред вами кабачок.
Смотрите: крюк, не крюк — полковник!
Стоит с стаканом пред столом,
Что твой начальник пред полком! ..
А наша стража по ночам?
Куда вор трусит заглянуть,
Где нечего украсть плутам —
Она, смотрите, тут как тут!
И до разбойников ли ей!
Ведь нужно обойти духаны —
Искать незапертых дверей;
Узнать, не малы ли стаканы
В домах питейных; выпить водки, —
«Не с табаком ли продают?» —
И аккуратно ли дают
Кусочек тухленькой селедки?
А тут следи еще за вором!
Духаны заперты. . . глядишь —
Она храпит уж под забором. . .
И город спит. . . Покой и тишь.
Не спят лишь в клубах. Загляни,
С каким азартом «господа»
Играют в карты, как они
Забыли службу и года

В своем приятном увлеченье!
А госпиталь!.. Не спит больной:
Он, как преступник в заточенье,
Кряхтит и стонет при одной
Ужасной мысли, что вот-вот
Настанет день и «Нижегрот»
В палате вихрем промелькнет,
Исчезнет с громом и в билет
Молниеносно занесет:
«Всё то же!» иль: «Симптомов нет».
А там, как кошечка, согнет
Пред «главным» спину и шепнет
(Шептаться любят доктора):
«Пора на выписку ему».
И вот по светлому челу
Играет складка: «Вам пора!»
Блажен, кто верует! А там...
А там похлебка с тараканом,
Микстура, ванная с угаром,
Сквозняк и вонь по всем «местам»...
А там... Да что там! Ведь не вам,
Друзья, приходится лежать
В горячке злой, — так, значит, нам
Об этом нечего писать.
«Но где ж отрадные явления?
Ужели их совсем уж нет?»
— «Окружный суд и управленья!» —
Кричим мы радостно в ответ.
Наш суд стяжал немало славы
И крючкотворством не страдал,
С тех пор как царь нам даровал
Свои судебные уставы.
Зайдемте в суд, там заседанья
Сегодня нет. «А впустят нас?»
— «Какого б ни были вы званья,
Ступай хоть весь Владикавказ».
— «Ну, хорошо, идем». Приходим.
В передней встретил нас швейцар,
И мы с приятностью находим,
Что он услужлив и не стар,
И словно только вас и ждет:
Пальто стремительно снимает

И обязательно ведет
Туда, где правда обитает...
Невольно думаешь с улыбкой:
«Теперь не то, что было встарь,
И не запачкан грязью липкой
Наш современный секретарь...»
Вот наконец вошли мы в храм
Фемиды, девы беспристрастной...
И тут встает навстречу нам
Закона раб, но очень властный.
И мы попались, будто в плен.
«Что нужно вам?» — «Позвольте справку:
Когда назначено NN
Пустое дело, за булавку?»
— «Гражданский иск?» — «Нет, уголовный
Процесс — не помните его?»
— «Позвольте-с... вспомнил... да, того...
NN преступник безусловный...
Ведь он спустил весь инвентарь
В одном именье — не булавку,
Как вы сказали. Секретарь!
Подайте точную мне справку,
В чем обвиняется NN?»
— «Сейчас... В различных преступлениях:
Картины снял он с голых стен,
В предосудительном стремленье
Похитить их, но пойман был
И в целом городе прослыл
Первейшим пьяницей и вором.
Не раз, валяясь под забором,
Он отвращение внушал
Проходим барышням и дамам
И многих часто искушал
Своим развратом полупьяным...»
— «Довольно! Слушать надоело».
— «Итак, назначено когда
Животрепещущее дело?»
— «На той неделе, господа,
Во вторник». — «Жалко: день базарный
Пропустим, право... Но теперь
Adieu¹, премного благодарны».

¹ Прощайте (франц.). — *Ред.*

И тут, раскланявшись, мы в дверь
Идем восторженно направо,
Не в силах чувства подавить...
Нет, если правду говорить,
Вот наша истинная слава —
Окружный суд. «А мировой?»
— «Преобладает в нем порой
Господство личного воззренья,
И не имеет он значенья
И впредь не будет никогда
Иметь значения суда
Коллегиального». — «Так что же?
Коли он только справедлив...
Тем слава нам его дороже».
— «Еще и как, помилуй боже!..»
— «Но мне позвольте рассказать
Об управленьях...» — «Отчего же,
Вы обещали это нам...»
— «Тогда идем к межевикам!
Вот Межевое управленье.
Не бойтесь, шествуйте вперед!»
— «Позвольте... Кто-то к нам идет
Навстречу». Странное волненье
Вдруг овладело всей душой.
«Вам что угодно?» — «Небольшой
Хотели б справки мы добиться:
Нельзя ли будет потрудиться?
Любезны будьте, государь!»
— «Распорядитесь, секретарь!»
— «Сию минуточку. Дело ваше?»
— «Тут планы есть... Я от папаши
В наследство землю получил
И в местном банке заложил...
Теперь мне нужны документы...
Утверждены они иль нет?»
И в две минуты ассистенты
Несут уж вежливый ответ:
«Для вас давно здесь всё готово,
Мы только ждали вас...» Каков!
О награждении ни слова...
Нет, современный не таков
Во всех судах и учреждениях

Служебный этот персонал,
И с вами даже генерал
Проводит время в рассужденьях.
Везде не то, что было прежде.
Хоть в Областное заглянем —
Здесь тоже в розовой надежде
Мы не обманемся. — Идем.
В приемной публики немало;
Всё, правда, маленький народ.
Узреть священное зеркало
Тут с нетерпеньем каждый ждет.
И впрямь, чреды не нарушая,
Зовут их всех по одному
Туда, в присутствие. . . Внимая
Лишь беспристрастному уму
И чистой совести, решают
Дела просителей и всем
Добра лишь искренне желают.
Мы очарованы совсем! . .
Теперь два слова о присяжных
(Их адвокатами зовешь),
Таких бездарных, но отважных
И днем с огнем — так не найдешь.
Но, впрочем, эти адвокаты
Приобрели себе дома —
Чуть-чуть не царские палаты;
Благоволит ли им сама
Слепая женщина — Фортуна,
Довольно трудно разрешить. . .
(О, дайте ж рифму! . . Ведь «драгуна»
Вас только может насмешить.
Но так как рифма не дается
Мне для «Фортуны», то уж пусть,
Забыв тоску, печаль и грусть,
Читатель вволю посмеется.
Но пригодится и «драгун»
Для слабеньких, дешевых струн
Разбитой нашей балалайки.)
О наших дамах без утайки,
Друзья, скажу вам пару слов:
Они прекрасны, незлобивы,

А в блеске клубных вечеров
Всегда кокетливы, игривы.
Но, между нами (по секрету!),
Имеет место и скандал.
Я лично эту в них примету
У мирового наблюдал.
Но есть еще одна примета
(Прощаю вдовушкам однем)
У наших барынь — это, это...
От рук отбились совсем!
Столичным нравится черкес
Из мира пушкинских чудес,
А нашим — пламенный драгун,
Будь он повеса, плут и лгун.
А наши сплетни!.. Боже мой,
Какие сети здесь плетут
За самоварами зимой.
Недавно был проездом тут
Студентик... Весь Владикавказ
О нем узнал, заговорил
И через полчаса решил:
«Он аферист, отводит глаз».
Я пожалел, но он в ответ
Заметил весело: «О, нет!
Что нам до них? Пускай злословят,
Пускай клеветуют, как хотят,
В сердцах гнилых пускай хоронят
Вражды и ненависти яд!
Что нам до них! Они ничтожны
В случайной злобе, как в любви,
Дела их пошлы, мысли ложны,
Нет капли свежей в их крови...
Что нам до них? Пусть пестрый рой
Разврата, пиршеств, пресыщенья
Своею тешится игрой!..
Что нам до них! К чему нам мщенье?»
Друзья, довольно! Я кончаю.
Но знайте: я всегда встречаю
Здесь пару черных-черных глаз...
Нет! Я люблю Владикавказ.

(1888)

61. ЗА ЗАСТАВОЙ

В бурю легче дышать сокрушенной груди
И сном крепче смыкаются очи...
Бушевала метель, замела все пути,
Завывала, мела дни и ночи.

За заставой, в убогой турлучной избе,
Утопавшей под снегом до крыши,
Бедный труженик жил в эту пору себе
У крестьянина старого Триши.

После долгих лишений, борьбы и труда
Потерял он последние силы.
И не выдержал, и решил он тогда
Всё отдать за безвестность могилы...

Фарисеи, невинность людскую храня,
Оклеямили его приговором:
«Душегубу на кладбище с нами нельзя».
И зарыли его за забором...

Спи, злосчастный!.. Теперь не нарушат твой
сон
Никакие земные страдания,
Ни людской произвол, ни беспомощный стон
Нищеты, ни тюрьма, ни изгнание.

Не встревожат тебя и паденье друзей,
И проклятья врагов озлобленных,
Позабыли давно и о лире твоей,
И о песнях твоих вдохновенных

Все, кто кинул тебя малодушно в борьбе
И прельстился продажною славой...
Сил не стало! Ну что ж? Так угодно судьбе —
Истлевой за далекой заставой!

(1888)

62. ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО,
или МЫСЛИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЗВОНОМ К ЗАУТРЕНЕ

Занялася заря... Вот и звон из церквей
С вестью радостной мир облетает
И к святым алтарям миллионы людей
Поклониться Христу призывает...

Разодетой толпой, как большой маскарад,
Наполняют они все молельни,
И бедняк, и богач в ожиданье наград
Раболепно склоняют колени.

Пред святым алтарем с площадным хвастовством
Ставят ярко горящие свечи
И под маской смиренья внимают потом
Песню клира и пастырской речи...

Так исполнив обряд поклоненья Христу,
Богу братства, любви, всепрощенья,
Пред уходом спешат приложиться к кресту
В фарисейском самообольщенье.

И затем... Всё забыв, предаются опять
Своим мелким житейским занятиям...
О, когда же, когда захотите понять,
Что Христос доказал вам распятем?

Много ль нужно еще вам позорных веков,
Чтобы силой Христова ученья
Жизнь избавить свою от тяжелых оков
Повседневных пиров и безделья?

Много ль нужно еще вам позорных веков,
Чтоб Христа вы врагам не предали
И пред казнью его вы у мрачных Голгоф
Так безумно «распни» не кричали?

Сколько нужно еще вам позорных веков,
Чтоб за братство, любовь и свободу
Не боялись цепей и терновых венков,
А несли бы с ним крест на Голгофу?!

(1888)

63. А. Я. П(ОПОВОЙ)

Скрывать, молчать, страдать безмолвно
Нет сил, терпенья больше нет, —
Как знать, обижу ли вас кровно,
Найду ль сочувствие и ответ?

Но всё, что так терзает душу,
На части разрывает грудь, —
Давно уж просится наружу,
Давно уж пробивает путь.

В признание я не вижу цели.
Молчаньем я себя травлю...
Чего хочу на самом деле?
Зачем вам знать, что вас люблю?

1888

г. Владикавказ

64. НОВЫЙ ГОД

Опять удалился от нас старичишка,
Чтоб кануть в минувших веках,
И снова пред нами веселый мальчишка
С загадочным блеском в очах.

Танцует, хохочет, срывает лобзанья
С красавиц, играет, поет,
В шуточных увертках на наше гаданье
Без смысла ответы дает...

И тешимся этой бесцельной забавой
Как дети мы с ним заодно.
Ни слова без смеха, улыбки лукавой!
Не действует даже вино.

Гость юный пьет бойко и всё же не скажет,
Что миру несет он с собой, —
Насилье и зло ли достойно накажет,
Иль вызовет правду на бой?

Безумных ли пиршеств он будет кумиром,
Купаясь в слезах и крови?
Поднимет ли знамя свободы над миром
Во имя Христовой любви?

Ответы туманны — так прочь же сомненья!
Поднять нам бокалы пора
За наши идеи, за наши стремленья
Под знаменем братства — ура!

Конец декабря 1888

65. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Годами согбенный,
Больной, изнуренный,
Поэт пробирался к ночлегу,
И Музу-шалунью,
Ночную певунью,
Узнал он по звонкому смеху...

«Ба! старый, здорово!
Всё так же сурово
Ты по миру бродишь с котомкой?
Любовь и свободу
Родному народу
Сулишь той же лирой незвонкой...

Но стар ты уж больно —
Бродил ты довольно,
Бесплодно расходуя силы.
И полно шататься, —
Я рада стараться
Тебя проводить до могилы.

Трудна хоть дорога,
Но с помощью бога —
Вперед, не колеблясь, за мною!
Настраивай лиру, —
К загробному миру
Путь скорбью наполнен земною.

Где, песню слагая,
Аккорды рыдают
И лира не служит забавой,
Там свет, проклиная,
Певца изгоняет. . .
Но смело! Ведь мы не за славой. . .»

(1889)

66. НА СМЕРТЬ ГОРЯНКИ

Не рыдайте безумно над ней, —
Она цели достигла своей,
Тягость жизни, нужда и невзгоды
С колыбели знакомы уж ей. . .
Хорошо умереть в ее годы!

Ничего, что она молода, —
Кроме рабства, борьбы и труда,
Ни минуты отрадной свободы
Ей бы жизнь не дала никогда. . .
Хорошо умереть в ее годы!

Приютят ее лучше людей
Под холодною сенью своей
Тесный гроб и могильные своды. . .
Не рыдайте безумно над ней!
Хорошо умереть в ее годы!

(1889)

67. ПРОСТИ

«Простите». . . В этом всё сказалось,
Теперь всё ясно для меня, —
Моей любви ты испугалась,
Она всегда тебе казалась
Скучнее траурного дня. . .

Ну что ж. . . прости! Немой досады
На встречи наши не таи, —

Я не искал за них награды...
Прости, и мира, и отрады
Да будут полны дни твои!

Прими последнее моление
Больной, истерзанной души!
Забудь меня, как сновиденье,
Как стих печали и сомненья,
Как бред полуночной тиши...

Прости! Всю прошлую тревогу
Беру я в спутницы себе,
Свою печальную дорогу
Я с ней пройду, моляся богу
Лишь только, только о тебе.

(1889)

68. НА СВЕЖЕЙ МОГИЛЕ

Он умер... Что делать? Охотно желаем
Всю вечную память ему, —
О нем ли нам плакать — ведь мы не теряем
Ни брата, ни сына, — к чему?!

Какое нам дело, что он сиротою
Ребенком был кинут судьбе,
Что в стройных аккордах грозил он порою
Бездушной, холодной толпе?

Был честен, за братство он ратовал смело,
Всю жизнь пробивался трудом,
Был молод — ну, что же? Какое нам дело?
Мы плакать не станем о нем...

Мы плачем о сыне, с рожденья страдавшем
Глубоким застоєм в мозгах,
Мы плачем о брате, всю жизнь промотавшем
В постыдной игре и пирах...

О матери доброй, торгующей мило
И телом, и честью детей,

Почтенном папаше, идущем уныло
На суд под бряцанье цепей. . .

А здесь о каком-то поэте безродном,
Страдавшем за правду и свет,
С любовью нам певшем о братстве свободном,
Что плакать? Слезы у нас нет! . .

(1889)

69

Да, я люблю ее, но не позорной страстью,
Как объяснять себе привыкли вы любовь, —
Я не влеку ее к обманчивому счастью,
Волну сладостным напевом ее кровь. . .

Нет, я люблю ее, как символ воплощенья
Доступных на земле возвышенных начал,
Добра и истины, любви и всепрощенья.
Люблю ее, как жизнь, люблю, как идеал,

Как трон свободных дум без гордости надменной,
Как свет познания, как мавзолей искусств,
Как храм поэзии, мечтою окрыленной,
И как чистилище ума, души и чувств.

Да, я люблю ее по долгу, по призванью,
Награды за любовь не требуя себе;
Как раб, приветствуя ее посильной данью,
Я награжден вполне, признателен судьбе.

Я счастлив, что люблю. Любви одной покорный,
Под знаменем ее пойду на смертный бой,
Пойду на суд толпы холодной, дикой, вздорной
С спокойной совестью, с ликующей душой. . .

И если я порой мучительно страдаю,
И если я не сплю из-за нее ночей,
То разве я тогда ребячески желаю
И слез, и ласк ее задумчивых очей?

143

Нет, я боюсь. Боюсь, что, в жизнь едва вступая,
Она доверчиво отдастся ей во всем,
И к ней прокрадется незримо ложь людская,
Которой осквернить святыню нипочем.

Вот, вот чего боюсь, что душу мне терзает, —
Она доверчива, наивна, молода,
А жизнь заманчиво зовет и соблазняет...
Боюсь, что разлюбить могу ее тогда.

(1889)

70. НА «BIS»

Чего хотите вы? Ужели развлеченья?
Ужель пустой тоски и праздности года
Хотите искупить минутой увлеченья?
Тогда и выходить не стоило труда.

Чего ж хотите вы? О, если б между вами
Нашелся хоть один, свободный от затей
Житейской мудрости, не скованный цепями
Блестящей мишуры и грязных мелочей!

О, если б билосся, не тронутое ядом
Вседневной пошлости, здесь сердце хоть одно!
Оно сказала бы, кого ищущу я взглядом,
Чего хочу от вас — узнало бы оно...

Хочу, чтоб не были вы в жизни торгашами
Душой и совестью, свободой и умом,
Чтоб друг на друга вы смотрели не врагами,
А каждый бы искал сочувствия в другом.

Хочу, чтоб заповедь вы помнили Христову:
«Любите ближнего, как самого себя».
Ищу готового пойти с ним на Голгофу
За благо родины, страдая и любя...

(1889)

71. ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ

Торжествуй, дорогая отчизна моя,
И забудь вековые невзгоды,
Воспарит сокровенная дума твоя —
Вот предвестник желанной свободы!

Она будет, поверь, — вот священный залог,
Вот горящее вечно светило,
Верный спутник и друг по крутизнам дорог,
Благородная, мощная сила! ..

К мавзолею искусств, в храм науки святой
С ним пойдешь ты доверчиво, смело,
С ним научишься ты быть готовой на бой
За великое, честное дело.

Не умрет, не поблекнет в тебе уж тогда
Его образ задумчивый, гордый,
И в ущельях твоих будут живы всегда
Его лиры могучей аккорды. . .

Возлюби же его, как изгнанник-поэт
Возлюбил твои мрачные скалы,
И почти, как святыню, предсмертный привет
Юной жертвы интриг и опалы! ..

16 августа 1889

72

Спою вам куплеты
Сегодня, друзья,
Все ваши секреты
Раскрою здесь я. . .

Я знаю, я зорко за вами следил. . .
Покайтесь, покайтесь, ведь пост наступил. . .

Вы, доктор, порою
Даете рецепт

С научной брехнею —
На совесть иль нет? ..
Я знаю, я зорко за вами следил...
Ну, полно, не бойтесь, ведь я пошутил...

А вы, наш присяжный,
Ведете дела
Без мысли продажной,
Всегда против зла?

Я знаю, я зорко за вами следил...
Ну, полно, простите, ведь я пошутил...

Строитель беседки,
Конюшен, казарм
И медной насадки,
Как можется вам?

Я знаю, я зорко за вами следил...
Пардон! .. Продолжайте, ведь я пошутил...

Отраву трихиной
Приняли за тиф...
И пичкали хиной...
Больной-то ваш жив?

Я знаю... и т. д.

Прошлись по базару
Вы, мытарь, с сумой...
Куда ж вы — в управу
Иль прежде домой?

А вы, санитары,
Где чуткий ваш нос?
Ведь наши базары
Погрызли в навоз...

Кассир, вы недавно
Зацапали куш...
Воруете славно,
Не то что ингуш.

Мадам!.. Вы напрасно
Глядите в лорнет...
Я мажусь прекрасно,
А вы разве нет?..

Вы дочь нарядили
Как будто к венцу,
А вы заплатили
За мясо купцу?..

Писец, а смотрите —
У вас шарабан...
Тащите, тащите!
Директор болван...

Копеечки медной
У вас, филантроп,
Выпрашивал бедный...
А вы его — хлоп!..

Мадам!.. Вы котенка
В подушках везли,
А вот мужичонка
В мороз не спасли...

Извозчик в коляске
Вез, кажется, вас?..
Вы дали бедняжке
Дырявый абаз...

Оставьте! За «браво»
Вас могут привлечь...
Долга ли расправа?
Здесь принято сечь...

Пропеть вам куплеты
На «bis» я готов,
Но наши советы
Рассердят глупцов.

(1890)

73. А. Г. Б(АБИЧУ)

Не хочу я теперь верить, милый друг,
Ничего равнодушному миру, —
Обличит мои думы тяжелый недуг
И заставит рыдать мою лиру...

Будут темны как ночь и нелепы для всех
Мои думы, надежды и грезы,
И лишь вызовут в праздной толпе дикий смех
Мои песни, молитвы и слезы.

Так не лучше ль молчать и, не жалуясь вслух,
Оставаться неведомым миру?
Потому и молчу, чтоб тяжелый недуг
Не заставил рыдать мою лиру.

Лето 1890

74. В. Г. Ш(РЕДЕРС)

Дождусь ли я счастливой встречи,
Чтоб в полном сборе видеть всех,
Затеять спор, послушать речи
И шумный незлобивый смех?

Вы все, бесспорно, как и прежде,
С здоровой, радостной душой,
Полны незыблемой надежды
Исправить социальный строй.

На пользу всем трудясь с любовью,
Взамен не требуя услуг,
За кровь не воздаете кровью,
Как я, ваш одичалый друг.

Но разве в смрадном лазарете
Изнемогающий больной
Дойти не может, чтоб на свете
Возненавидеть всё порой?

Простите! Это озлобленье
И я испытывал не раз,
Я б кончил жизнь (без) сожаленья,
Когда б с ней не терял и вас.

Одна лишь мысль о встрече новой
Дает мне силы для борьбы
С неволей тяжелой и суровой,
С нуждой, с глумлением судьбы.

И я ближайшей целью ставлю
Скорей вас в сборе видеть всех,
Позлить назойливого «каплю»,
Послушать говор, спор и смех. . .

1890

75. СЕСТРЕ

Застонет лишь ветер, в трубе завывая,
В ненастную зимнюю ночь,
Мне чудится плач твой, сестра дорогая.
Но горе! Нет силы помочь.

Тяжелую участь послала на долю
Семье нашей бедной судьба:
Ты жаждала жизни, рвалась на волю,
Меня увлекала борьба.

Мы выросли странно, как будто с рожденья
В семье не бывали своей, —
Отец не такого, как мы, убежденья,
А мать. . . Говорить ли о ней?

Всего нас четыре — времен, видно, года,
Их тоже четыре в году, —
Создать ради шутки хотела природа
Из нас и на нашу беду!

Отец, как зима, убелен сединою,
Но добр и прозрачен, как лед.

А ты так и пышешь цветущей весною,
В тебе жизнь фонтанами бьет.

То солнце, то слякоть, то тишь, то ненастье —
Вот осень. Не то же ли мать?
Знакомы, как лету, мне горе и счастье
Порывов его созидать. . .

Возможно ль ужиться при этом контрасте
Характеров, целей, забот?
Мы все понимали по-своему счастье
И горе вседневных невзгод.

Так мы и расстались. . . Ты выбрала друга,
Предалась мечтаньям весны,
Но нрав необузданный, грубый супруга
Разбил все надежды, мечты. . .

Ты долго молчала, как сень гробовая, —
Скрывала несчастье от нас. . .
Но тайна прорвалась, как смерть роковая,
И хлынули слезы из глаз.

Разбита вся юность со всеми мечтами,
Изныла безвременно грудь. . .
Плачь, плачь, дорогая! Быть может, слезами
Ослабишь ты горе хоть чуть.

1890

76. ЗАВЕЩАНИЕ

Довольно, довольно! Забудем бывшее, —
Упреки и слезы напрасны теперь. . .
Нам надо расстаться. . . Бессилье ли злое
Иль страх малодушья, — не знаю, поверь,

Борьба ли неравная, позор ли паденья
Покончить все счета земные велит, —
Вопрос предоставим толпе на решение.
Ты видишь — кровь стынет. . . Грудь ноет,
болит. . .

Жалеть бесполезно, роптать не умею...
Прости, коль напрасно себя я сгубил.
Прости! Но, клянусь тебе смертью моею, —
Свободу я больше, чем славу, любил...

Для ней не щадил я ни жизни, ни силы,
Клянусь — и теперь не жалею о том...
Но... слушай, товарищ, пред дверью могилы
Тебя я, как брата, молю об одном:

Ты помнишь теснину за черной скалою,
Где, пенясь, два горных потока шумят
И, дружно обнявшись, веселой волною
Струи свои к морю беспечно катят,

Где в складках утеса, над страшным обрывом,
Гнездится отважно аул небольшой, —
Там в сакле у башни, подернутой дымом,
Меня ожидает отец мой больной...

Старик, защищавший когда-то так смело
Суровую волю, суровый Кавказ...
О друг мой! Сиротство его тяготело
Всю жизнь надо мною, гнетет и сейчас...

Товарищ! Навряд ли поведать другому
Решился б я этот ужасный секрет,
Открыл лишь тебе, чтоб страдальцу родному
Ты снес мой сыновний поклон и привет...

Скажи, что я жертва пустых увлечений...
Был молод... Теперь на коленях молю
Обнять меня снова... Исторгнув прощенье,
Спешу осенить им могилу мою...

1890

77. НА СМЕРТЬ М. З. КИПИАНИ

Умер!.. О, это холодное слово
Скорбью звучит беспредельной для нас.
Умер... И ты, обездоленный, снова
Плачешь и стонешь, родимый Кавказ.

Да, потерял ты достойного сына, —
Всё, что ты нашей земле завещал, —
В образе скромном простого грузина
Всё незабвенный наш брат совмещал.

Много ль их было, способных народу
Так же всецело отдаться, любя,
Так же бороться за нашу свободу,
Светоч познания в сакли внося?

Нет, их не много, — и эту потерю
Наши потомки припомнят не раз.
Плачь. . . Я в грядущее снова поверю,
Слушая плач твой, родимый Кавказ!

Между 2 и 10 марта 1891

78

Один, опять один, без призрака родного,
Как бы отторгнутый от мира, от людей. . .
Нет искры тлеющей участия былого,
Нет сплоченных рядов послушных мне друзей. . .

Опять темно вокруг, до боли беспросветно,
Пустынно, холодно. . . Утерян снова путь. . .
А как хотелось жить и верить беззаветно,
Любовью к ближнему переполняя грудь!

А как хотелось и мне в горячие объятья
Весь необъятный мир, как друга, заключить,
Простить врагов своих, в ответ на их проклятья
Страдать за них, любя, страдая, — их любить!

Между мартом и июнем 1891

79. НА НОВЫЙ 1892 ГОД

Полночи этой дождались мы снова.
Строго порядок обычный храня,
Право сказать новогоднее слово
Мы предоставим. . . кому же, друзья?

Мне ли? Напрасно! Цветов поздравленья
Я не свяжу вам в душистый букет, —
В эту минуту всеобщего бденья
Нужен бы гений, а здесь его нет.

Только его потрясающей лиры
Стройно могучий, свободный аккорд
Бросил бы факел горящей сатиры
В Лету, где канул несчастнейший год.

Вызвал бы слезы, родил бы участие
К новорожденному. . . Хилый, больной —
Вот он, дитя нищеты и несчастья,
Нам поднесенный в насмешку судьбой. . .

Вы присмотритесь, как он коченеет,
Как безнадежно блуждают глаза,
Локон кудрявый блестит, индевет,
Вот на реснице застыла слеза. . .

Впалую грудь леденит уже холод,
Замерло сердце, дыханье слабей. . .
Нет ни кровинки, мучительный голод
Бледные щеки вдавил до костей. . .

Братья! Пойдем ли за полную чашей
Этот бессвязный, надорванный стон?
И в этой встрече торжественной нашей
Вправду ли встретит сочувствие он?

Полно! Я верю в разумную волю,
Доброе сердце, святую любовь, —
Мы облегчим его горькую долю,
К жизни цветущей вернем его вновь.

Все мы в отдельности слабы и малы,
Дружно возьмемся — качнется гора.
В этой надежде и вере бокалы
Выпьем за братский союз наш. Ура!

Конец декабря 1891

Писать... Но вам какое дело
 До наших мук, до наших слез?
 Вы унеслись далеко, смело
 В волшебном хороводе грез...

Вас утром пробуждает море,
 Восток вам навевает сны, —
 Вам там легко, вы там без горя,
 В стране цветов, в стране весны!..

А здесь... Расстались мы, — давно ли?
 А между тем, не видя вас,
 У хумаринцев всех до боли
 Сердца сжимались не раз...

Игры уж нет, крокет заброшен;
 Художник и поэт Ислам
 Стал нелюдим, тяжел и тошен,
 Совсем уж не товарищ нам.

А. П. сготовила микстуру —
 Хотела дикарю помочь,
 Но он разлил лекарство сдуру
 И убежал куда-то прочь.

Каспар... Такого стал педанта
 Изображать он из себя,
 Что между грешниками Данта
 Такого не припомню я.

Кричит, ругается безбожно,
 Швыряет факелы из глаз,
 При нем смеяться невозможно, —
 Тотчас же приколотит вас.

А Саня... Я скажу картинно:
 В ней прежней резвости уж нет, —
 Глядит прищурясь, ходит чинно,
 Как гувернантка в сорок лет.

Но Мила. . . Боже, что за Мила!
Пешком — суворовский солдат,
Верхом — отчаянный Аттила,
Всех победит, всем ставит мат. . .

И Коля до сих пор не может
Без «скрипки» вспоминать о вас,
Вот разве зеркало поможет,
А то ведь не уймешь за час.

Ну, словом, всё скучает страшно
По вас и ноет так, как Кот.
Один Ага шагает важно,
Как прежде, у своих ворот.

На что «Баку», — и тот худеет,
Не ест, не пьет по целым дням;
И зелень чахнет и желтеет,
И ветер стонет по полям. . .

И небо хмурится порою,
И ночь длиннее стала дня. . .
По вас, увы! — теперь не скрою, —
Порой скучаю даже я. . .

1892

81. САНЕ И МИЛЕ Б.

Я пишу вам очень мало —
Тороплюсь весьма.
Вот вам скучное начало
Скучного письма!

Тахтаул-чалган не в силах
Вдохновить певца, —
Здесь толкуют лишь о жилах
Меди и свинца.

Инженер у нас бедовый, —
Он еще не стар,

Между тем такой суровый, —
Хуже, чем Каспар!

Боже! Что у нас за печи —
Дым стоит столбом!
Точно здесь осада Керчи, —
Выстрелы и гром

Беспрерывной канонады
В разных «номерах»
Потрясают все громады
Гор, внушают страх . .

Не ведет Кубань седая
Песню про любовь,
А шумит, орет, как злая
Старая свекровь.

Вот вам общая картина
Нашего житья.
Пожалейте ж осетина
Бедного, друзья!

Сам я много, очень много
Думаю о вас.
Напишите ж, ради бога,
Пару строк хоть раз!

Передайте папе, маме
Теплый мой привет! . .
Говорить ли об Исламе?
Фи! охоты нет!

1892

82. ДЖУК-ТУР¹

Бестрепетно, гордо стоит на откосе
Джук-тур круторогий в застывших снегах,

¹ Джук-тур — особый вид дикого козла, который встречается на неприступных высотах Кавказских гор.

И, весь индеев в трескучем морозе,
Как жемчуг, горит он в багровых лучах.

Над ним лишь короной алмазной сверкает
В прозрачной лазури незыблемый Шат;
У ног его в дымке Кавказ утопает,
Чернеют утесы и реки шуршат...

И луг зеленеет, и серна младая
Задумчиво смотрит в туманную даль...
И смутно, на эту картину взирая,
Познал он впервые любовь и печаль...

1892

83

Если встречи с тобой, дорогое дитя,
Только шутка иль злая интрига,
То не делай певца, умоляю тебя,
Ты рабом непосильного ига.

Не хочу я страдать, не хочу, — видит бог! —
Мне неведомо счастье земное,
Но в неравной борьбе до того изнемог,
Что теперь я ищу лишь покоя...

И коль ласки твои шаловливо, шутя,
Мне готовят печальную повесть,
О, тогда пощади, дорогое дитя,
Не тревожь мою спящую совесть!

{1893}

84

Да, встретились напрасно мы с тобою:
Не по пути нам, милое дитя, —
Не будем жить мы радостью одною,
Твоею стать не может грусть моя...

Весне нужны чарующие трели,
Тепло и свет, широкий небосвод,
Цветы и сны, нужна ей жизнь без цели,
Без мрачных дум, печали и забот. . .

У осени другое назначенье, —
Ей дай шипы, а не гирлянды роз,
Борьбу и труд, отвагу и терпенье,
В ней каждый шаг — мучительный вопрос. . .

Не сблизиться им радостью одною,
И не сплотит их общая печаль. . .
Да! встретились напрасно мы с тобою, —
Не по пути, не по пути нам, — жаль! . .

(1893)

85. МУЗЕ

Муза! . . Забудем мы эти аккорды,
Где каждый звук лишь кичится красой,
Как надушенный, напыщенно-гордый
Франт пред оборванной, грязной толпой.

Полно! На что нам такие напевы,
Где хор волшебных несбыточных грез
Сладко щекочет мечтательность девы,
Чуждой борьбы и беспомощных слез? . .

Лучше пропой ты мне песню такую,
Чтобы она прозвучала в сердцах
И разбудила бы совесть людскую
В их повседневных житейских делах. . .

Лучше скажи мне могучее слово,
Чем бы весь мир я сумел убедить,
Что в этом мире нет счастья другого,
Как бесконечно прощать и любить.

(1893)

Вот когда перестану дышать
 И бесчувственно буду лежать
 В торопливо сколоченном гробе
 И когда ты придешь за толпой
 Навестить прах безжизненный мой, —
 Смейся вволю, потворствуя злобе!

«Где тот взор, что надеждой пылал,
 Что в минувшем с любовью блуждал
 И впивался в грядущее жадно?
 Где живые аккорды речей,
 Что, так бурно сливаясь в ручей,
 Не смолкая, гремели отрадно?

Где невинный, ребяческий смех
 И сатиры, пугавшие всех?
 Где восторги, мечты, увлеченья,
 Непритворная смелость в бою
 За народ, за свободу свою,
 За равенство, любовь, просвещение?

Всё исчезло, как сон, без следа!..»
 Смейся, друг мой, злорадствуй тогда, —
 Всё потерпит сырая могила...
 Но пока я страдаю, люблю,
 Об одном я прошу и молю:
 Не глумись ты над тем, что мне мило.

(1893)

Над нами плыл месяц и звезды мерцали...
 Заснуло село за рекой...
 Прибрежные ивы чуть-чуть трепетали,
 Волна чуть шепталась с волной...

И я колебался... Но взор твой глубокий
 Сомненья мои разогнал.

«В борьбе, — говорил он, — с судьбою жестокой
Ты счастья и жизни не знал.

Куда-то по ветру ты неся без цели,
Как сорванный вихрем листок,
Не слышал ты в мае волшебные трели,
Пред тем как алеет восток.

Не видел, как розы, сплетаясь задорно
В венки, украшают чело,
Не знаешь, что в мире любви всё покорно,
Что с нею тепло и светло...»

И так он был полон любви и участия,
И так он всё мог разрешить,
Что больно, мучительно хочется счастья,
Мучительно хочется жить...

(1893)

Мне нравится, мой друг, что ты глядишь пытливо
И тщетно разгадать стараешься меня,
Когда я говорю тебе полушутливо,
Что я устал любить, устал страдать, любя.

Мне нравится твой взор задумчиво-глубокий,
Сомнения твои и непритворный страх,
Когда я говорю, что люди все жестоки,
Что нет небесного созвучья в их сердцах.

Не верь моим речам, исполненным проклятья,
Насмешки злой и лжи, — я им не верю сам, —
Напротив, верь, что мы, как любящие братья,
Воздвигнем на земле один всеобщий храм,

Храм жизни трудовой, насилью недоступный,
Сознательной борьбы, без пыток и крови,
Храм чистой совести и правды неподкупной,
Храм просвещения, свободы и любви!..

(1893)





Не упрекай меня, что я забросил лиру,
 Что разорвал я цепь былых волшебных грез,
 Что отказался я бесчувственному миру
 Любовно поверять мечты и тайну слез.

Не упрекай меня! Свободные напевы
 Не гармонируют с бряцанием цепей,
 А трели соловья и шепот юной девы —
 Отравленный бокал на гульбище страстей. . .

Могу ли я смущать великим изречением —
 «Любите ближнего, как самого себя» —
 Людей, готовящих с таким ожесточением
 Кровавую зарю для радостного дня?

Ночь близится к концу. . . Ристалище раздора,
 Безумной храбрости, насилья, грабежа
 Уже становится ареною позора,
 Разврата, пошлости, бесчестья, кутежа. . .

Минуты сочтены, повсюду быют тревогу. . .
 Уж брезжит луч зари, играя на штыках. . .
 Лишь грянут выстрелы, и «Слава в вышних
 богу!»

Победно прогремит на светлых облаках.

(1893)

Когда тебя, мой друг,
 Порой томит недуг
 И не находишь облегченья,
 Ты вспомни о Христе, —
 Страданья на кресте
 Ослабят вмиг твои мученья.

Когда же радость грез
 Отравит горечь слез,
 Когда тебя постигнет горе,

Ты вспомни лишь народ, —
Среди его невзгод
Твои страданья — капля в море.

(1893)

91. ПОЭТУ

Не верь, мой друг, что струнами возможно
Исчерпать мысль и тайники души. . .
Значенье слов так мелочно, ничтожно,
Что лучше ты нас рифмой не смеди. . .

Пусть льется, песнь унылую слагая,
Порою стих свободно, как волна, —
Как стон в груди, не дрогнет, замирая,
Бездушная, холодная струна. . .

Немую скорбь, беспомощные слезы
В созвучье слов не распознает свет, —
Твои мечты — для нас пустые грезы,
Твоя печаль — больной, безумный бред. . .

Забрось свою надтреснутую лиру,
Гаси огонь и жертвенник разбей, —
Наскучил ты дряхлеющему миру,
Как мрачное бряцание цепей! . .

(1893)

92. ПАМЯТИ Я. М. НЕВЕРОВА

(Попечитель Кавказского учебного округа)

Я знал его. . . Я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей,
Когда и труд, и силы, и заботы —
Всего себя он отдавал лишь ей.

Я не забыл, как светочем познания
Он управлял могучею рукой,

Когда с пути вражды и испытанья
Он нас повел дорогою иной.

Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть.
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь. . .

Он нас любил, и к родине суровой
Он завещал иную нам любовь;
Отважный пыл к борьбе направил новой
И изменил девиз наш — «кровь за кровь».

Он нам внушил для истинной свободы
Не дорожить привольем дикарей. . .
Я знал его, я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей. . .

Май или июнь 1893

93. ПАМЯТИ А. И. ПЛЕЩЕЕВА

Его ланит рукой безжизненной и влажной
Коснулась смерть, и вмиг застыли все черты,
И он покинул нас, испытанный, отважный
Поборник разума, добра и красоты. . .

Мой друг, не плачь о нем — безумными слезами
Ты робость детскую пред битвой не буди!
Он не умрет для нас, пока позорно сами
Мы не сойдем с его тернистого пути. . .

Ему не надо слез. Лишь то святое дело,
Которому он жизнь с любовью посвятил,
Пусть не умрет в тебе, — иди под знамя смело,
Храня его завет и не жалея сил! . .

Конец сентября или октябрь 1893

Умру я, и что же? Слезою участья
 Почтишь ли могилу мою,
 И смерть моя ляжет ли тучей ненастья
 На душу больную твою?

Нас общее дело когда-то сближало,
 Хотели чему-то служить.
 Мы были друзьями, но что-то мешало
 Нам нежно друг друга любить.

Так мы и расстались... И годы летели...
 Жалея друг друга не раз,
 Мы розно боролись... Достиг ли кто цели,
 Намеченной каждым из нас?

Нисколько! Бесплодно расходуя силы,
 Мы оба боролись с нуждой...
 Состарились оба, болезненно хилы,
 Без слез, без улыбки живой.

К чему ж мы лишили возможного счастья
 Цветущую юность свою?
 За эту ошибку слезою участья
 Почти хоть могилу мою!..

1893

95. ПАМЯТИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Разбита стройная, чарующая лира,
 Повергнут жертвенник, разрушен пышный
 храм, —

Навеки улетел «соловушка» от мира
 В страну далекую, к далеким небесам... .

И стало тяжело на сердце, безотраднo,
 И мрак, холодный мрак сгустился над душой.
 Удар безвременный! И как он беспощадно,
 Как неожиданно направлен был судьбой!

Оценим ли теперь великую потерю,
Горячая слеза найдется ль у кого?
Тогда лишь в будущность народа я поверю,
Когда он гения оплачет своего;

Когда печаль свою он глубоко сознает
И вещие слова поэта он поймет:
«Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает. . .
Не говорите мне: он умер, — он живет!»

Декабрь 1893

96

Я не пророк. . . В безлюдную пустыню
Я не бегу от клеветы и зла. . .
Разрушить храм, попать мою святыню
Толпа при всем безумье не могла.

Я не ищу у сильных состраданья,
Не дорожу участием друзей. . .
Я не боюсь разлуки и изгнанья,
Предсмертных мук, темницы и цепей. . .

Везде, для всех я песнь свою слагаю,
Везде разврат открыто я корю,
И грудью грудь насилия встречаю,
И смело всем о правде говорю.

На что друзья, когда все люди братья,
Когда везде я слышу их привет?
При чем враги, когда во мне проклятья
Для злобы их и ненависти нет?

В тюрьме ясней мне чудится свобода,
Звучнее песнь с бряцанием цепей,
В изгнанье я дороже для народа,
Милее смерть в безмолвии степей. . .

При чем толпа? Ничтожная рабыня
Пустых страстей — дерзает пусть на всё!
Весь мир — мой храм, любовь — моя святыня,
Вселенная — отечество мое. . .

Между 1892 и 1894

97

Не спрашивай — ты не поймешь, родная,
Мою печаль и тайну этих слез.
Узнаешь всё, когда пройдет, играя,
Пора весны, пора волшебных грез. . .

Среди забав я детство золотое,
Как ты теперь, беспечно провела,
Как ты теперь, я сердце молодое
Лишь для любви и счастья берегла.

Пришла пора. . . Я этой жизни новой
Мечтала всю, всю посвятить себя,
Но мой отец, твой дедушка суровый,
Решил не так, — я вышла, не любя. . .

Безропотно, с покорностью рабыни,
Несла я крест, тому свидетель бог!
Хоть жизнь была бесцветнее пустыни. . .
Явилась ты. . . Отец твой занемог. . .

Оставил нас на улице с тобою. . .
Но что роптать! . . Его давно уж нет. . .
Куда идти? . . И к матери вдовою
Вернулась вновь я в девятнадцать лет.

Но здесь уже я лишняя, чужая,
А жизнь манит, полна мечты и грез. . .
Не спрашивай — ты не поймешь, родная,
Мою печаль и тайну этих слез! . .

(1894)

Я не поэт. . . Обольщенный мечтою,
 Я не играю беспечно стихом. . .
 Смейся, пожалуй, над тем, что порою
 Сердце мне шепчет в безмолвье ночном. . .

Смейся! . . Но только я каждое слово,
 Прежде чем им поделиться с тобой,
 Вымолил с болью у счастья былого
 И оросил непритворной слезой. . .

Вот почему мои песни звучали
 Многим, как звон поминального дня. . .
 Кто не изведал борьбы и печали,
 Тот за других не страдает, любя!

Многим напевом моим неигривым
 Я надоел, как бряцаньем цепей. . .
 В жизни не будет разумно счастливым
 Тот, кто не знает невзгод и скорбей;

Словом горячим и песней живою
 Радости светлой не вызовешь в том. . .
 Смейся, пожалуй, над тем, что порою
 Сердце мне шепчет в безмолвье ночном! . .

{1894}

Не упрекай! Судьбу винить не надо, —
 Ведь корабли все сожжены теперь,
 И больше нет к минувшему возврата.
 Не упрекай! Всё к лучшему, поверь.

Ошибка ль, нет? Теперь умом холодным
 Союз сердец безбожно разрушать,
 Созвучью их, порывам благородным
 Мы не должны, не вправе мы мешать. . .

Нам труд знаком, знакомы мы с нуждою.
О чем жалеть? Пред нами новый путь.
Дай руку мне, и с этою слезою
Всё прошлое навеки позабуди!

Тогда и луг, усеянный цветами,
Лазурь небес и реющая даль
Заговорят приветливее с нами
И заглушат сомненья и печаль. . .

Смотри, как ключ из почвы выбегает
И нежится с полуденным лучом,
Как роза им кокетливо кивает
И шепчется с беспечным мотыльком.

Как всё полно здесь неги, аромата
И как нас здесь к блаженству всё зовет!
Не упрекай! Не надо нам возврата, —
Всё к лучшему, всё к лучшему. . . Вперед! . .

(1894)

100

Смерть близка — я это знаю.
Друг, не плачь и не жалеи!
Жизнь моя и всё, что с ней
В этом мире покидаю,
Стоят ли слезы твоей! . .

Всё, что я любил душою,
Что влекло меня вперед
И сейчас со мной умрет,
Всякий вздорною мечтою
До сих пор еще зовет. . .

Детство — легкое виденье,
Юность — бешеный поток,
В бурю на море челнок,
Без порядка, без уменья
Розы, смятые в пучок. . .

Дальше — брeнная свyтyня,
Храм, разрушенный толпой,
Путь, промаянный с сумой,
Бесконечная пустыня,
Мрак холодный, гробовой. . .

Друг, теперь я умираю, —
Ты не плачь и не жалеи!
Всю любовь души моей
Передай родному краю,
Всё, что я сберег для ней. . .

(1894)

101. ЧЕРДАК

Осенняя полночь холодным покровом
Одела столицу. . . Как стогны гробов,
Теснятся вдоль улиц в молчанье суровом
Лепные фасады громаднх домов. . .

В слезливом тумане, как звезды мерцаю,
Ушли в перспективу ночные огни,
И, слабый свой отблеск в Неве отражая,
По зыби, как бисер, дробились они. . .

У клубных подъездов отдались дремоте
Усталые «ваньки» на дрожках своих. . .
Кипучие страсти, дневные заботы,
Борьба и тревоги затихли на миг. . .

Уснула столица. . . В предместье далеко,
В глухом переулке все спали давно.
Дома утопают во мраке глубоком. . .
В одном чердаке лишь мерцает окно. . .

Калитка раскрыта. . . Гнилые ступени. . .
Помои. . . Отбросы. . . Куда же теперь?
Завалены хламом и мусором сени, —
Не хочется дальше. . . Но скрипнула дверь.

Дешевая лампа едва озаряет
Убогую келью. . . Некрашенный пол,
Железная печка. . . Кровать занимает
Всю заднюю стену. . . Два стула и стол.

Вот вся обстановка обителю тихой
Заветных мечтаний, излюбленных дум
И честных стремлений. Склонившись над
книгой,
Юнец напрягает пытливый свой ум. . .

Припухлые веки, смертельная бледность,
Бескровные губы, упавшая грудь
И сдержанный кашель. . . Недаром же, бедность,
И ты поспешила сюда заглянуть! . .

Но память тупеет. . . Сливаются строки. . .
И череп как будто наполнен свинцом. . .
Уснуть бы. . . Улегся. . . Но кашель жестокий
Сильнее глумится над бедным юнцом.

И сон не смежает усталые очи,
И хрупкое тело под пледом дрожит,
А мысль, напрягаясь в безмолвии ночи,
Далеко в сторонку родную бежит. . .

Вот луг со стогами и сжатые нивы. . .
В скирдах наливное хранится зерно. . .
Вот мельница, речка, плакучие ивы. . .
Вот старая церковь. . . родное село. . .

Вот школа, сторожка и сторож знакомый —
Седой и ворчливый солдат отставной. . .
Вот домик с крылечком, покрытый соломой. . .
Сестра у постели старухи больной. . .

Вчера получилось письмо из столицы,
Не может расстаться с ним бедная мать, —
В очках, обливая слезами страницы,
Вновь стала по буквам его разбирать. . .

«Здоров я, родная. . . Работаю много. . .
Науки даются. . . Годок подождем. . .

Окончу, приеду, и с помощью бога
Легко, припевая, втроем заживем. . .

Ах, милая мама, сестра дорогая!
Дождемся ль?» Он вздрогнул, и слабая грудь
Вновь борется с кашлем и рвется, пылая. . .
Ах, если б забытья! . . Ах, если б уснуть!

(1894)

102. ТОЛПА

Когда гремит на площадях «осанна»
И, как волна, колышется толпа,
Ты ей не верь, — она непостоянна,
Капризна, зла, разнузданна, глупа.

Еще вчера, как глыба ледяная,
Она ползла лишь по течению вод,
Бесмысленно, бесцельно отражая
И мрак, и свет, и запад, и восход.

Коснулась жизнь ее ланит холодных, —
И вся она охвачена огнем.
Ни злобных дум, ни мыслей благородных
В ней разглядеть уже нельзя ни в чем.

Она шумит, как грозная стихия,
Не ведая ни меры, ни преград, —
Рыданья, смех, проклятья и благие
Порывы — всё слилось в один каскад. . .

Она творит с стихийным увлеченьем,
Но что вчера ей удалось создать,
То через день она же с озлобленьем
Повергнет в прах и станет попирать. . .

Не верь ты ей, когда она так шумно
Клянет вражду и превозносит мир, —
Ее любовь, как ненависть, безумна,
И бог ее не бог, а лишь кумир. . .

(1894)

Опять к тебе, любимая подруга
 Заветных дум, стучусь я, как больной,
 Осиливший объятия недуга,
 Но с сломанной, истерзанной душой. . .

Прими меня. . . Усталой головою
 Позволь на грудь склониться вновь твою,
 Позволь мне смыть горячею слезою
 Позор и страсть преступную мою. . .

Без горечи, с заботливостью нежной,
 Вновь кубок мой отравленный разлей,
 Вновь, с ласкою улыбки безмятежной,
 Пропой мне песнь забытую скорей. . .

И песнь твоя, твое живое слово
 Наполнят грудь тревогою былой, —
 И я очнусь, и я воспряну снова
 Для чувств иных и для борьбы иной. . .

И этот чад погони безрассудной
 За призраком исчезнет как туман. . .
 Ах, сколько лжи! Какой оазис чудный
 Мне грезился. . . Как прихотлив обман! . .

В каких степях, в какой пустыне знойной
 Мечтал я жизнь цветущую создать!
 Как верил я забаве непристойной. . .
 Как я любил. . . Как я устал страдать! . .

Прими меня! Одно твое участие
 Всю молодость, все силы мне вернет,
 И эта мысль позорная о счастье
 Мещанском, верь, сегодня же умрет. . .

(1894)

Не поможешь ты горю слезами,
 Бесплезно рыдаешь над ней,
 Убери ее кудри цветами
 И о смерти ее не жалеи! . .

Словно ландыш душистый весной,
 Далеко, далеко от села,
 Позабитая даже тобою,
 Одиноко она расцвела. . .

Словно ландыш под сенью густою,
 Аромата и неги полна,
 С тихой грустью, с безмолвной тоскою
 Любовалась на мир и она.

Но никто в этом мире наживы,
 Даже ты, ее нежная мать,
 Не хотел молодые порывы
 В молодом ее сердце признать.

Ее грезы, заветные грезы,
 Ее думы над сонным прудом
 И ее затаенные слезы
 Не нашли отголоска ни в ком. . .

И она, словно ландыш весной,
 С тихой грустью любясь на всё,
 И росла и цвела сиротою,
 Пока буря не смяла ее. . .

И могла ль она жить между нами,
 В этом мире борьбы и страстей?
 Убери ее кудри цветами
 И о смерти ее не жалеи! . .

(1894)

1

О чем жалеть?.. Большим дыханьем бури
 Последний лист с березы унесло...
 Простор полей, широкий свод лазури,
 Как саваном, туманом облекло...

Стоят в лесу деревья, как скелеты...
 Сад опустел, кусты сирени, роз
 Развенчаны и догола раздеты,
 На стебельках лег инеем мороз...

Замолкла песнь, плетется мысль уныло,
 Тускнеет взор, тяжел и долог путь,
 И, как тюрьма, как черная могила,
 До боли жизнь щемит и давит грудь...

2

О чем жалеть?.. За темными ночами
 Блеснет заря, наступит ясный день...
 Проснется жизнь под вешними лучами,
 И расцветет душистая сирень...

Лес огласят причудливые трели,
 По зелени рассыпятся стада,
 Польется песнь привольная свирели,
 Под веслами запенится вода...

Высоко грудь начнет вздыматься снова,
 Воспрянет мысль, взор прояснится вновь,
 Свободное в аккордах грянет слово,
 Свободная вернется и любовь!..

{1894}

Расстаться не трудно, не трудно убить
 В душе молодые порывы —

Трудней бескорыстно и свято любить
В озлобленном мире наживы...

Легко за обиду обидой платить,
За кровь — оскорбленьем и кровью,
Но трудно два сердца навеки сплотить
В союз, освященный любовью...

Труднее разумно и твердо сознать,
Что счастье и наше призванье —
Прощать бесконечно, без меры прощать,
Всему находить оправданье...

Расстаться не трудно, но встретиться вновь
Позволит ли жизнь без досады?
Ах! если б увериться в том, что любовь
Не ищет взаимной награды!..

(1894)

107. ПАМЯТИ А. Н. ОСТРОВСКОГО

Угас и он, как витязь благородный,
Не кинув бой неравный до конца,
И эта смерть печалью безысходной
Наполнила все чуткие сердца.

Уж нет его среди друзей послушных,
Соратников под знаменем любви...
Не плачь о нем! Ты вместо слез ненужных
Себя его идеей вдохнови.

Невежеством беспомощно сраженный,
Ты не сходи с тернистого пути.
Иди за ним! И факел, им зажженный,
Раздуй сильней и всюду им свети.

Пусть умер он для новых вдохновений,
Для новых дум, печалей и труда, —
Ведь не умрет его великий гений
В его родном народе никогда.

Январь 1894

108. ПОД НОВЫЙ ГОД

Бьет полночь... Влагою кипучей
Бокалы искрятся — пора!
Пусть, как поток, волной могучей
Гремит всеместное «ура»!

Чем ночи кажутся длиннее,
Чем гуще мрак, чернее тень,
Тем солнце ярче и милее,
Тем краше лучезарный день...

Пусть тяжки были испытанья
В минувшем, — новая заря
Дает тем больше упованья
И веры в благотворность дня...

Долой сомненья! Шлет всем равный
Привет рождающийся год.
Подыдем же бокал заздравный,
Друзья, за братьев — за народ!..

Конец декабря 1894

109

Ты вправе смеяться. Бессильный, больной,
Подавленный жизнью бесцветной,
Тебе я поведал, тебе лишь одной,
Все помыслы тайны заветной...

Доверчиво, детски наивно, смешно
Я, весь упоенный мечтою,
Всем тем, что со мной умереть бы должно,
Хотел поделиться с тобою...

И что же? Иначе и быть не могло!
Покорная только рассудку,
Ты чувство, которое грудь мне сожгло,
Отвергла, как дерзкую шутку...

Я был уничтожен, унижен, убит, —
 Ни мысли, ни грез, ни покоя!..
Алтарь опрокинут, светильник разбит,
 Поругано всё, всё святое...

Но я не дерзал возмущаться, роптать, —
 Любовь — этот акт всепрощенья —
Умеет без меры, безмолвно страдать,
 Не знает ни злобы, ни мщенья.

Ответить обидой тебе я не мог
 За сердце, облитое кровью...
Ты вправе смеяться... Но я, видит бог,
 Тебе заплачу лишь любовью.

(1895)

110

Я сделал всё... За призраками счастья
Толпа неслась безумно предо мной,
Неслась, как вихрь, как ураган в ненастье,
Безбрежною, бушующей волной.

Без жалости, без искры состраданья
Бросались все на этот дикий спорт...
Задорный смех, проклятья и рыданья —
Сливалось всё в неистовый аккорд.

Служила всем позорным их оружием
Одна лишь грязь, грязь гнусной клеветы...
И долго я с холодным равнодушьем
Смотрел на всех... Вдруг вижу — мчишься ты...

И сжалась грудь болезненно, тревожно,
И стыла мысль перед твоей судьбой...
Спасти тебя, казалось мне, возможно, —
Я кинулся в погоню за тобой...

Мне стоило чудовищных усилий
Догнать тебя, — устал я, как в бою...

177

Я слышал брань, какую поносили
И молодость, и красоту твою...

Я видел, как несмелые порывы
Души еще неопытной твоей
Топтались в грязь героями наживы,
Рабами лжи, лакеями страстей.

И многие могли б ответить кровью,
Но клевета позорно прячет грудь...
С какой тоской, с какой тебя любовью
Я умолял оставить этот путь!..

Как я клялся все помыслы и силы,
Всю жизнь свою тебе лишь посвятить!
Как божеству быть верным до могилы,
В тебе весь смысл бытия земного слить...

Напрасный труд! Желанного ответа,
Увы! ничем я вымолить не мог...
Не тронула тебя слеза поэта...
Я сделал всё... Пусть нас рассудит бог!..

(1895)

111. СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Ночь великих испытаний
Реет над землей...
Дни печали и страданий
Настают, друг мой...

Чаша горечи и мщенья
До краев полна...
Бог любви и всепрощенья
Пьет ее до дна.

Красный плащ... венец терновый...
Крест... Голгофа... кровь...
Смерть за призыв к жизни новой!
Пытка за любовь!

Как не дрогнуть под грозою
Светлым небесам?!
Как не огненной росюю
Падать их слезам?!

Как не треснула на части
До сих пор земля!
Как мечтать о личном счастье
Смел с тобою я?!

(1895)

112. ПРИВЕТ

Устал... поблекли силы,
Увяли навсегда,
И яму для могилы
Мне вырыла нужда...

И смерть рукой бескровной
Стучится в дверь ко мне...
Пора! Привет любовный
Я шлю родной стране.

Ее в часы разлуки
Я с грустью вспоминал,
В рифмованные звуки
Печаль ее влагал...

Привет тебе прощальный,
Аул мой дорогой!
Я повестью печальной
Тревожил твой покой...

Не брезгай же приветом,
Красавица, и ты,
Поверь, умрут с поэтом
Безумные мечты.

(1895)

113. ПАМЯТИ А. С. ГРИБОЕДОВА

Убит... За то ль венец терновый
Сплел для него коварный рок,
Что озарил он мыслью новой
Всю Русь родную, как пророк?!

Зачем он шел, как раб покорный,
В страну фанатиков врагов,
Когда уже нерукотворный
Был памятник его готов?

Но пусть судьбы предначертанья
Обычным движутся путем!
Творец великого созданья,
Мы смело за тобой идем!

Не малый срок твой дивный гений
Дал поколениям для того,
Чтоб образы твоих творений
Уж не смущали никого.

Но нет!.. Борьбу окончить эту
Не скоро правде даст порок, —
Ведь бедный Чацкий твой по свету
Всё тот же ищет уголок.

Начало января 1895

114. БОСЯК

Ты узнаешь меня... Ты говоришь со мною...
Ты не гнушаешься презренным босьяком...
Ну что ж... я налицо, с дрожащею рукою,
Протянутой к тебе за медным пятакком...

Не нужный никому, негодный для работы...
То пьян, то голоден, то не совсем здоров...
Кабак, ночлежный дом и целые уж годы
Сообщество бродяг, пропойц и воров...

Позор... позор и стыд!.. А помнишь ли, как прежде
Ключом могучим жизнь мою вздымала грудь,
Как, полный светлых дум и сладостной надежды,
Я гордо пробивал к заветной цели путь?

Как я хотел вместить в горячие объятия
Весь ненавистный мир, весь опостылый свет,
Дарить своим врагам в ответ на их проклятья
Улыбкой теплою обласканный привет...

А помнишь ли, с каким я вдохновенным взором
Встречал с тобой восход и провожал закат,
Как увлекала степь меня своим простором,
Как опьянял меня цветочный аромат?

С звездою каждою, с былинкой каждой в поле,
С дыханьем ветерка, с прозрачным ручейком
Я мог беседовать о счастье, о воле,
О тайнах бытия, движенье мировом...

А помнишь ли, как я, склонившись к изголовью
И трепетной рукой несмело взяв твою,
С глубокой верою и чистою любовью
Тебе, как божеству, открыл мечту мою...

И что ж? Непонятый, осмеянный тобою,
Я стал искать свое призвание в другом...
И вот я налицо — с дрожащею рукою,
Протянутой к тебе за медным пятакон...

(1896)

Не верь, что я забыл родные наши горы,
Густой, безоблачный, глубокий небосвод,
Твои задумчиво-мечтательные взоры,
И бедный наш аул, и бедный наш народ.

Нет, друг мой, никогда! Чем тягостней изгнание,
Чем дальше я от вас, чем бессердечней враг,
Тем слаще и милей мне грезится свиданье
Со всем мне дорогим в родных моих горах.

Не бойся за меня! Я не способен к мщенью,
Но злу противиться везде присуще мне.
Не бойся! Я и здесь не дамся обольщенью
Красавиц, чуждых мне по крови и стране. . .

Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно,
Люблю беспомощных, обиженных, сирот,
Но больше всех люблю — чего скрывать позорно? —
Тебя, родной аул и бедный наш народ.

За вас отдам я жизнь. . . все помыслы и силы,
Всего себя лишь вам я посвятить готов. . .
Вы так мне дороги, так бесконечно милы,
Что сил нет выразить, что высказать нет слов! . .

(1896)

116

Волшебной сказкою, свободным измышленьем
Мне кажутся порой события этих дней,
И вера чистая колеблется сомненьем,
И радость светлая тускнеет вместе с ней.

И мысль усталая пред вечною дилеммой
Становится в тупик, — ужели он не бог?
Но разве бы тогда он все углы вселенной
Так ярко озарить своим явленьем мог?

А если это так, то почему с любовью
Две тысячи <уж> лет враждует дерзко зло?
И человечество меч, обогранный кровью,
С проклятьем до сих пор забросить не могло?

И почему его божественное слово
Нас чувством не могло любовным вдохновить

И всех нас, всех людей, для счастья мирового
Как братьев и друзей в одну семью сплотить?

Но... нет... не то... не то... И вновь сомненья эти
Бледнеют, рушатся... Опять не стало их...
И вера крепнет вновь: ведь два тысячелетья
В сравненье с вечностью — один лишь только миг.

(1896)

117. НА СМЕРТЬ ШУМАФА ТУТАЮКА

Он умер, вижу сам, но я едва лишь верю,
И плачу не о нем — мне он не друг совсем,
И безвозвратную не вижу в нем потерю
Для родины моей, а плачу между тем...

О чем? Стоял и я пред мрачною могилой
Людей мне дорогих без горечи и слез,
А если плакал я, то всё же с этой силой
Не мучил, не томил меня такой вопрос.

О чем же плачу я? Зачем тоской глубокой
Непостижимо так теперь я удручен?
Не то же ли и я? И в жизни одинокий,
И встречу смерть свою покинутым, как он?

8 января 1897

118. ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Как знать, смогу ль еще рифмованные звуки
Беспечно окрылить заветною мечтой
Иль я их отравлю тоской предсмертной муки,
Тоской безвестности пред дверью роковой?

Как знать, — и эта песнь несчастного поэта
Не есть ли только бред, не есть ли только стон
И страстный, дикий вопль прощального привета
Всему, что он любил, чему молился он?..

О, если это так, то все мои страданья
Теперь, о родина, признаньем искуплю:
Все помыслы мои и все мои желанья
Одну имели цель — снискать любовь твою.

24 ноября 1897

119. В. Г. Ш(РЕДЕРС)

В этой сумрачной столице
Не вольготно осетину,
А тем более в больнице,
Где я чахну, вяну, гину...

Скучно праздники проходят, —
Нет здесь близких мне знакомых.
В коридорах грустно бродят
Группы битых, мятых, хрбмых.

Стонут трудные больные...
Вон юнец один сгорает...
Видит образы родные —
То смеется, то рыдает...

Вот притих... бежит сестрица
Озабоченно в палату...
Что, уже?.. О, эти лица!
Как легко их знать по взгляду.

Эх, сбежать бы! Чтобы вволю
Насладиться жизнью с вами, —
Да куда мне с этой болью,
Да хромоту, с костылями.

27 декабря 1897

120. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Не знаю, как назвать, как объяснить не знаю,
Но разум мой молчит бессильно перед ним...
Боюсь чего-то я, я глубоко страдаю
При мысли о тебе предчувствием одним.

Не знаю, как назвать, не знаю, что такое,
Но ясно чувствую при взгляде на тебя,
Что что-то высшее, безмерно дорогое
Теряю навсегда с моим изгнанием я.

Не знаю, как назвать, но всё, что неустанно
Вселял и созидал в тебе я много лет, —
Всё будет попрано тобою беспощадно,
И время вытравит в душе твоей их след...

Не знаю, как назвать, но страшною тревогой
Предчувствье это мне переполняет грудь.
Нет! нам не по пути, иди своей дорогой,
А мне оставь в удел скитальческий мой путь...

Апрель или май 1899

121. У. Ц(АЛИКОВУ)

Ах, Угалук! Ах, Угалук!
Пою тебе опять на лире.
Сиди ты лучше, милый друг,
В твоём прекрасном Алагире.

Не знаешь разве, милый мой,
Какая у военных мода?
Все просят здесь наперебой
Чинов, наград и перевода...

Ах, Угалук! Ах, Угалук!
Тебе ли лезть за этим стадом!

Хотя и ты, мой милый друг,
Уже зачислен кандидатом...

Ах, Угалук! Ах, Угалук!
Закончу песнь свою на лире:
Совсем отбился ты от рук, —
Сиди ты лучше в Алагире!

1899

122. ВИТЕ

Пусть бритта — жадного удава —
Бур искрошит за свой Трансвааль.
Непобедимым бурам слава!
Ура! А бритта нам не жаль.

3 декабря 1899

123

Здесь, над самым морем,
По ночам с волнами
Я делился горем,
Скорбью и слезами...

1899 или начало 1900

124. ВЕСНА

Весна, весна! Из края в край
Песнь прозвенела вновь:
Привет тебе, веселый май!
Привет тебе, любовь!..

Широким бархатным ковром,
Взор ласково маня,
Под ярким голубым шатром
Раскинулись поля...

Рокочет весело ручей,
Шумит беспечно бор,
Из ослепительных лучей
Природа шьет убор...

И всюду жизнь, тепло и свет,
Приволье и цветы...
Везде любовь, везде привет
И всюду, всюду ты!..

(1900)

125. ЭТЮД

Ароматная ночь, грез и неги полна,
Неприметно на землю спустилась...
В голубых небесах разгорелась луна,
За звездой звезда заискрилась...

Тишина и покой... Лес задумчивый спит,
Убаюканный сладкой мечтою.
Колыхаясь чуть-чуть, море волны струит
И зовет их, мятежных, к покою...

(1901)

126. ДРУГУ

Невозможно творить, если нет у тебя
Силы творческой, нет дарованья,
И страдать за других невозможно, любя,
Если ты не изведал страданья.

Но любви и талантов не требую, друг, —
Век героев прошел безвозвратно;
Лишь народу из всех его многих услуг
Возврати хоть одну ты обратно.

Ну хоть чем-нибудь дай ему повод признать,
Что врагом ты не будешь народным

И что новых петель не захочешь вязать,
Чтоб ему помешать стать свободным...

(1901)

127. В РЕШИТЕЛЬНУЮ МИНУТУ

Я шутил, я солгал... Я невольно солгал,
Ввел невольно тебя в заблужденье, —
Я в безумном порыве любовью назвал
Одуряющий чад увлеченья...

Далеко от родных, далеко от друзей,
Изнывая в тяжелом изгнание,
Отдаваясь тоске по отчизне моей,
Я чуждался надежд и желаний...

Как осенняя ночь, как кошмар, как недуг,
Дни за днями ползли без просвета,
Будто вымерло всё, — я не видел вокруг
Ни улыбки, ни слез, ни привета.

Вдруг встречаю тебя... И зачем? Для чего?!
Взор твой вызвал меня из покоя,
И от ласки твоей, от тепла твоего
Встрепенулось в груди ретивое...

Я тебя полюбил больше всех из людей
За сердечность твою, за участие,
Но ты в чувстве моем, как в бряцанье цепей,
Не найдешь ни покоя, ни счастья...

Я не стою любви, я не смею любить, —
Меня родина ждет уже к бою,
Коль врага ее мне не удастся сразить,
То не встретимся больше с тобою...

(1901)

Румяный луч заката
 На Эльбрусе погас...
 Пригнал к пещере стадо
 Пастух в урочный час...

Собрались понемногу
 Товарищи его...
 Не видно — слава богу! —
 Потерь ни у кого...

Коров уж подоили,
 Загнали в баз телят...
 В пещере разместили
 Овец и их ягнят.

Какой шалун козленок!
 Залез под самый свод;
 Малюсенький ягненок
 Надулся, всё ж сосет.

Огонь уж раздувает
 Проворный мальчуган...
 Очаг дымит, пылает,
 Поставлен и таган...

Вот все к огню подсели...
 Котел уже кипел...
 Пока смеялись, пели,
 И ужин подоспел.

Чурек сухой, ячменный,
 Похлебка с молоком —
 Вот ужин неизменный,
 Приправленный трудом...

И сыты, слава богу!
 Пошли к своим местам
 И смолкли понемногу...
 Покойной ночи вам!

(1901)

1

Друзья, истошилось терпенье, —
Довольно о завтрашнем дне!
Не надо ни слов сожаленья,
Ни вздохов... На что они мне?!
Оставьте! Слепому кумиру,
Как вы, я не стану служить:
Я страстно люблю свою лиру,
Люблю с ней скитаться по миру,
Люблю на свободе пожить.

2

Вы жизнь превратили в забаву,
Гнушаетесь честным трудом
И, совесть меняя на славу,
Насилье зовете судом.
Вы были всегда палачами
И прав, и свободы чужой,
Топтали святыни ногами, —
Так будьте же счастливы сами
С такой озверелой душой!

3

Вы создали право владенья,
Где так обездолен народ,
Где с песней о вечном терпенье
Он хлеб добывает с болот.
Вам нужны обширные виллы
С фонтанами в пышном саду.
И стройте! Земли для могилы,
Когда поизносятся силы,
Я сажень повсюду найду...

Мне вашего счастья не нужно, —
 В нем счастья народного нет. . .
 В блестящих хоромаш мне душно,
 Меня ослепляет их свет. . .
 Их строило рабство веками,
 Сгорают в них стоны сирот,
 В них вина мешают с слезами. . .
 Нет, будьте вы счастливы сами,
 Где так обездолен народ!

Где золото, там умирают
 Волшебные грезы любви,
 Недаром его обмывают
 Потоки преступной крови,
 Недаром и песню сложили
 Ему под бряцанье цепей
 Все те же, кого вы судили. . .
 Нет, сами живите, чем жили!
 Я жизнью доволен своей.

Оставьте пустое стенанье,
 Советы и вздохи по мне! . .
 Коль вам непонятно сказанье:
 «Не думай о завтрашнем дне»,
 Служите слепому кумиру,
 А мне не мешайте служить
 Всеобщему братству и миру. . .
 Отдайте мне посох и лиру, —
 Хочу на свободе пожить! . .

(1901)

130. УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Если только, случайный мой друг,
Лесть тайком не ласкала твой слух,
Если правду считаешь залогом
Нерушимого счастья людей,
А любовь средоточьем идей
Философии, данной нам богом...

Если ты, не гнушаясь трудом,
Домогалась душой и умом
Охватить тайны жизни свободной,
Распиналась за братьев-сирот,
Озлоблялась в бою за народ,
Вдохновляясь мечтой благородной...

Не таила за пазухой месть,
А сражалась открыто за честь,
Как святыню, ее защищая, —
Робость я постараюсь унять, —
Если да, то должна ты понять,
Как люблю я тебя, дорогая!..

(1901)

131. СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

В эти мрачные дни, в эти скорбные ночи
Наполняется вновь безотчетной тоской
Изболевшая грудь, и усталые очи
Снова искрятся жгучей невольной слезой.

С затаенной враждой палачи-фарисеи
Как живые встают из могил вековых,
И апостолов всех, всех борцов за идеи
И предателя вижу как будто живых.

И прискорбно до слез, и обидно до мести
За людей и за жизнь... Вспоминаются вновь
Речи, полные лжи, ласки, полные лести,
И продажная честь, и такая ж любовь!..

Март 1901

132. ПАМЯТИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Зачем, поэт, зачем, великий гений,
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилья и гонений,
Мир, где царил языческий кумир? . . .
Зачем судьба с таким ожесточеньем
Гнала тебя из-за пустых интриг
Трусливых бар, взлелеянных бездельем,
Когда клеймил их твой могучий стих?
Ты нужен был не царству бар и рабства,
А вот теперь, когда талантов нет,
Когда нас всех заело декадентство.
О, если бы ты жил теперь, поэт!
Твой мощный стих, могучие аккорды
Рассеяли б остаток прежней тьмы, —
Тогда бы по пути добра, любви, свободы
Пошли бы за тобой вперед со славой мы.

1901

133

Я смерти не боюсь, — холодный мрак могилы
Давно меня манит безвестностью своей,
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей. . .

Я счастья не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.

134. ЗИГЗАГИ МЫСЛИ В БЕССОНИЦУ

Как долга беспросветная ночь! . . .
Как еще далеко до восхода! . . .
Но . . . и днем не могу я помочь
Безысходному горю народа. . .

Умереть. . . Да не всё ли равно,
Часом позже иль часом же раньше?

Для борьбы я бессилён давно,
А жить праздно — что может быть гаже!..

Жизнью я дорожил, чтоб отдать
Ее родине всю без остатка.
А теперь я устал и страдать,
И любить, и бороться... Как гадко!

Нет, ничем не могу я помочь
Безысходному горю народа...
Как долга беспросветная ночь!..
Как еще далеко до восхода!..

135

Нет, тебя уж никто не заменит,
Дорогая, родимая мать!
Ни во что уже сын твой не верит, —
Истомился, устал он страдать...

Будь бы ты — как его б ты любила!
Его душу понять бы могла
И, как коршун, его б сторожила
От насилья, коварства и зла.

Ты простила б ему заблужденья,
Приласкала б его на груди,
Объяснила бы жизни значенье
И служила б опорой в пути.

136. ПЕСНЬ РАБА

В яслях мы одних родились,
Вырос ты со мной;
Вместе жили и трудились,
Бедный ослик мой!

Вместе, не жалея силы,
Надрывая грудь,
Терпеливо до могилы
Мы свершим свой путь.

Пусть живет наш хан спесиво —
 Что за дело нам?
Жизнь — обман, но смерть не льстива, —
 Все мы будем «там».

137. ПЕСНЯ

Где ликующего мая
Аромат, цветы весны?
Где ты, юность удалая,
Где мечты твои и сны? ..

Где друзья, их говор, шутки,
Смех веселый, шум пиров,
Рой поборников где чуткий,
Откликавшийся на зов?

Где вы, призраки свободы,
Пыл свободного труда?
Всё с собой умчали годы,
Всё исчезло без следа! ..

138. ПОРТРЕТ

Стройна как тополь, все движения
Изящны, легки. . . Каждый штрих —
Шедевр божественного гения,
А речь — сплошной певучий стих.

Как небо майской полуночи,
Ее задумчивые очи
Манят бездонной глубиной
Куда-то ввысь, в мир неземной. . .

Добра как ангел, незлобива,
Порой мечтательно-грустна,
Порой, как школьник, шаловлива, —
Вы узнаете, кто она? ..

Такие дни особенно тяжелы,
 Что не могу их с вами разделить, —
 Делеша, лишь сухие протоколы...
 Вернетесь вы усталая из школы,
 И некому вас там развеселить.

140. ПОРЫВ

Ах, как больно, мучительно жажду опять
 Долгих, жгучих твоих поцелуев, дитя!
 Ах, как страстно, как бешено мог бы обнять
 После тяжкой разлуки, мой демон, тебя.

Нет, не вынесу я, не по силам моим,
 Дорогая, навеки расстаться с тобой...
 Нет, я вызову ад, пойду с чертом самим
 На разлучников наших кровавой войной!..

Нет, не вынесу я, я погибну тогда,
 Если смертный подышит любовью твоей, —
 Она только моя, и клянусь, что всегда
 Иль неволей, иль волей, а будет моей!..

141

Свой отъезд волшебной сказкой
 Я назвать готов...
 Жду на станции Кавказской
 Ровно пять часов.

И как вечность час за часом
 Медленно ползет,
 И ваш образ неотвязно
 Предо мной встает.

142. КОМПЛИМЕНТ

Готов я, как богу, молиться вам вечно
И богу молиться за вас бесконечно,
И только, как твари ничтожнейшей бог,
Позвольте у ваших валяться мне ног!..

143. СО ДНЕМ АНГЕЛА

Первозванного Андрея
Знает всякий, но ты сам
И дороже, и милее
Как толстовцам, так и нам.

Потому и поздравленье
Шлю тебе, мой друг Андри, —
Кушай травку без стесненья,
Будь здоров и не хандри!

144. ХЕТАГ

(Начало никогда не имеющей быть оконченной поэмы)

Читатель! Сбираюсь поведать тебе
Старинную повесть о славном
И доблестном предке, стяжавшем себе
Бессмертье в потомстве забавном.

Я сам из потомков его и, как гусь,
Лишь годный в жаркое, нередко,
Встречаясь с другими «гусями», кичусь
Прославленным именем предка.

Преданье я черпал из тысячей уст,
А памятник цел и поныне:
Священная роща, иль «Хетагов куст»,
Стоит в Куртатинской долине.

Еще не касался ни разу топор
Его долговечных питомцев;
В нем странник чужой потупляет свой взор,
Послушный обычаю горцев.

145. ПОЭТУ-МЕЧТАТЕЛЮ

Оставь, поэт! Напрасно не зови
Нас за собой, не трать на нас речей, —
Мы созданы не для святой любви,
А для пиров вальпургьевых ночей.

Лишь потому, что вымысел «свобода»
Рифмуется с «народом», ты готов
На нем создать и счастье народа...
А сам-то он гнушается ль оков?!

Чем ты зовешь божественное чувство,
Творяще жизнь? Не словом ли «любовь»?
Стыдись, поэт, преступного кощунства, —
Ведь ты его рифмуешь часто с «кровь»!..

ПОЭМЫ,
НАПИСАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

146. ФАТИМА

Кавказская повесть

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ах, с каким безграничным восторгом, дитя,
На руках из мишурного света
Я унес бы далеко, далеко тебя
И любил бы любовью поэта...

Детский слух услаждал бы я лирой своей,
И под звуки ее безмятежно
Засыпала б ты сладко на груди моей,
А я пел бы, баюкал бы нежно...

Много, много сложил бы я песен тогда
На чарующем лоне природы
О восторгах любви, наслажденьях труда
И о светлом блаженстве свободы...

1

Полна кунацкая Наиба
Привета ласковых затей,
Немало из Чечни, Гуниба
И славной Кабарды гостей,
Встречая здесь прием радушный,

Досуг тревоги боевой
Беседе отдает живой.
Адату родины послушны,
Храня обычай старины,
Кавказа верные сыны —
Будь кровники — без злобы тайной,
При встрече званой иль случайной,
По возрасту, по праву лет,
Здесь делят ужин и обед,
И, как друзья, полны одною
Лишь мыслью о приволье гор,
Ведут за чашей круговую
Согласный, долгий разговор...
Здесь кунаки равны, как братья;
Их жизнь священна, как Коран;
За их обиду мусульман
Клеймит народное проклятье.
Беглец, измученный дорогой,
Подчас беспомощный абрек,
Больной, слепой, старик убогий —
Привет им, отдых и ночлег.
Сюда на праздник годовой
Идут красавицы аула
И водят танец круговой.
Здесь много юношей взгрустнуло,
Читая строгий приговор
Во взглядах девы... Здесь немало
Горянок шепоту внимало,
Стыдливо потупляя взор...
Наиб уж стар. Наиб уж сед...
Не годы, не боязнь могилы
Сломили мужество и силы
Питомца доблестных побед.
Давно ль, как юноша беспечный,
Он, ветер рассекая встречный,
Отважно на коне скакал!
Давно ль в морщинах диких скал,
Добычу смело нагоняя,
С винтовкой за плечом весь день
Бродил он, устали не зная...
Давно ль за кровником как тень
Гоняясь в темноте ночной,

Он к утру приносил домой
Его ружье, кинжал, папаху...
Хвала всеильному аллаху!
Не будем воспевать любовь,
Не станем говорить о чести
Там, где еще законы мести
Сулят охотно кровь за кровь...
Но горе старому джигиту,
Когда он на закате дней
Отпустит выместить обиду
Последнего из сыновей, —
Разбита вся его опора,
Погибли радость и покой!..
Под песнь унылую укора,
Впотьмах, неведомой тропой,
Как вор, бредет он торопливо
Тогда к могиле... Как пугливо
Глядит он на своих друзей,
Как ненавидит он людей!..

Наиб... Горька его утрата,
Печаль безмерна, видит бог,
Любил он сына, Джамбулата,
Но... горе пересилил долг:
Наиб обязан для него
Предать минувшее забвенью, —
Судьба вручила попеченью
Печальной старости его
Красавицу — приемьш-дочь...
Его утеха вся — Фатима;
Он занят ею день и ночь,
И им, как клад, она хранима.

«Дитя, ты видишь, сединою
Сребрится голова моя, —
Быть может, скоро надо мною
Холмом насыпется земля...
В тот день, как мать твоя скончалась
И бесприютной сиротой
В ауле нашем ты осталась,
Я взял тебя... Обет святой
Тогда я дал пред стариками

Беречь тебя, как дочь свою,
И с лучшим князем между нами
Скрепить законом жизнь твою.
Как роза южная весною
Цветет украдкою в горах
И украшает их собою,
Так точно на моих руках
И ты росла и расцветала...
Молва о прелести твоей
Не раз ко мне уже сзывала
Лихих князей и узденей...
Ужель из них твое вниманье
Ничей не подкупает взгляд?
Они руки твоей хотят
И ждут меня... Я жду признанья...
Фатима, быстротечны лета,
Тебе быть матерью пора...
Законы святы Магомета,
Их неминуема кара...
Попрять адаты и преданья
Отцов — преступно... Дочь, поверь,
Ни в ком не встретим состраданья,
Не дав ответа и теперь...
Фатима, не терзай так больно
И так истерзанную грудь!
Она измучилась довольно
За Джамбулата... Не забудь —
Вы только были мне отрадой
По смерти матери его...
Я вас растил... И вот награда:
Пять лет, как вести от него
Я не имею, а в тебе —
Ни капли жалости ко мне!..
Фатима... Как?.. Ужели слезы?..
Ты плачешь? Дочь моя, о чем?
Мои слова — не брань угрозы,
А скорбь о возрасте твоём...»
— «Отец, зачем терять напрасно
Слова и время? Знаю я,
Бороться нам не безопасно...
Что делать!.. Видишь — я твоя...
Отдай меня, кому желаешь, —

Тебе простит и бог, и свет,
Мне всё равно... Здесь речи нет
О счастье...»

— «Дочь, ты убиваешь

Бедой согбенного отца!
Клянусь вот этой сединою,
Клянусь величием творца,
Что я живу теперь одною
Мечтой о счастья твоём...
Права отцов, адатов силу
И мысль о выборе моем
Я унесу с собой в могилу,
Едва сердечное признание
В награду за мои страдания,
За все насмешки надо мной
Судьбы злорадной я услышу
Из уст Фатимы дорогой...
Дитя, открой страдальцу душу,
Молю тебя...»

— «Изволь, отец.

Когда измученный гонец
С Чечни к нам в полночь прискакал
И пред старшинами аула
Здесь со слезами рассказал
О притеснениях гяура...
Когда вы все — и стар, и млад —
С оружием за Сулак спешили,
Ты помнишь, как тебя просили
И я, и сын твой Джамбулат
Пустить его... Ты не забыл
Его проклятья и молитвы...
Твой сын, я знаю, молод был
Для ужасов кровавой битвы,
Но он исторг твое согласие...
Безумная! Как заодно
С ним детской мыслью увлеклась я!..
Но так нам, видно, суждено!..
Ты помнишь, ни один в походе
Не красовался на коне,
Как он... Отец, то не войне
Служить хотел он, — нет! — свободе...»

Свободе!.. Он любил тогда...
Прости, отец, мое признание!..
Пять лет в бесплодном ожиданье
Прошли, промчались без следа,
Как ряд ночей без сновиденья.
Без искры света... Но поверь,
Порой надежда и теперь
Сменяет горькое сомненье, —
Я жду его... Но что мечты
И клятвы девушки презренной!
Они не стоят, чтобы ты
Закон отцов попрад священный...
Должно быть, так угодно року,
Что друг для друга мы равно
Погибли с ним давно-давно...
Табу¹ великому пророку!..
Изволь, отец, я покоряюсь
Своей нерадостной судьбе,
Преступным бременем тебе
Я оставаться не решаюсь,
Сдаюсь пред силою адата...
Нарушу юности обет...
Забуду имя Джамбулата...
И выхожу — позволишь, нет —
За Ибрагима...»

— «Дочь?!»

— «Сам бог

Его в удел мне посылает...»

— «Но он ничтожен, он убог, —
Опомнись, дочь!..»

— «Отец, пылает

Любовью сердце в нем давно...»

— «Но он не князь...»

— «Мне всё равно...»

Там, где нашла в себе я силу
Зарыть мечты мои в могилу,
Поверь, отец мой дорогой, —
В труде, облитом потом, кровью,

¹ Слава, хвала.

Согретом правдой и любовью,
Найду отраду и покой...
Отец, ты выслушал признание
Безумной дочери твоей, —
Суди ж ее без сострадания,
По слову совести своей,
Суди преступницу скорей!..»

Старик прикрыл глаза рукою...
Он только мог ответить ей
Упавшей на ковер слезою...

2

Свежо... Полночною прохладой
Повеял ветерок из гор...
Стоят возы живой оградой...
Пылает небольшой костер...
Быки пасутся над рекою...
Вот кто-то песню затянул,
Звучат болезненной тоскою
В ущельях песни... Вот зевнул
Какой-то дремлющий... Привольно
На мягкой зелени лежать
В такую ночь, — начнешь невольно
Бессвязно, без конца считать
В пространстве тлеющие очи;
Меж тем блуждают без конца,
Дивясь премудрости творца,
И думы в полумраке ночи...
Как сладко за свою свободу,
Как мысль беспомощную жаль!
Обнять весь мир, постичь природу,
В надзвездную проникнуть даль,
Увы, ей не дано судьбою!..
Мелькают тени за арбою...
Один хлопочет у костра —
Готовит ужин... Но пора!
Черкесы чинно у огня
Садятся стройным полукругом...
Обычай родины храня,

Два отрока, подобно слугам,
По старшинству всех наделяя,
Обносят чашами их ряд...
Картину ярко озаряя,
Дрова как факелы горят...
Похлебка и чурек ячменный!...
Кому их труд тяжелый мил,
Как ласки дружбы неизменной,
Тот ужин бы их полюбил...
А мы, читатель мой бесценный,
Мы любим негу и покой,
И в нашей праздности вседневной
Нам нужен ужин не такой!
Но тише! Юному черкесу
Вблизи слышались шаги...
«Благослови, аллах, трапезу,
Пророк вам всюду помоги!»
С приветом путник неизвестный
Явился к ним из-за арбы.
Все приподнялись...
«Будь небесным
Послом и гостем, коль рабы
Твои достойны этой чести...
За скромный ужин не брани...
Поведай радостные вести, —
Откуда, для кого они?»
— «Не мне, несчастному лезгину,
Быть светлым вестником небес;
Рукой бессильной я не сдвину
Загробной вечности завес...
Оставшись круглым сиротою,
Я вырос на чужих руках,
Считая матерью родною
Старуху о пяти зубах.
Она и ветхая лачуга,
Чурек на ужин и в обед,
Солома, сказки в час досуга —
Вот всё, и детства нет как нет!...
Я подрастал... Старуха знала,
Чему питомца научить, —
Она меня безбожно гнала
Князей за пиршеством смешить...»

Я пел, плясал без утомленья —
И мог остатками стола
Кормить старуху... Как мгновенье
И юность светлая прошла...
Давно, давно тот возраст минул,
Давно старухи этой нет;
С тех пор как я аул покинул,
Промчалось много, много лет...
С тех пор я странствую немало
С сумой и посохом своим,
Пою для всех и где попало...
Везде привет, везде любим...
Когда-то жизнь во мне кипела,
Вперед без страха я глядел,
Искал борьбы, искал я дела...
Был близок к ним... но заболел...
Очнулся я в стране далекой,
Среди неведомых степей,
Без сил к борьбе с судьбой жестокой,
С насмешкой чуждых мне людей...
Жизнь стала для меня укором,
А жить хотелось, видит бог!..
Меж тем моим усталым взорам
Повсюду чудился острог...
Как я хотел предать забвенью
Порывы мысли роковой!..
Как челн над темной глубиной,
Я был покорен дуновенью
Едва приметного зефира...
Без сожаленья, без кумира,
Без слез, без ласки и привета,
Без искры радости и света
Мелькали смутной чередой
За днями дни... Обрыв крутой
Меня заставил оглянуться...
Вперед... туда?.. Назад... вернуться?..
Нет, лучше где-нибудь в сугробе
Сном непробудным почивать,
Чем в смрадном, беспросветном гробе
Оков бряцанию внимать...
Назад, назад!.. Когда б вы знали,
Мои случайные друзья,

Как взоры дня меня пугали,
Как солнца сторонился я!
Где беспредельна степь, как море,
Где чуть колышется река,
Там безграничны скорбь и горе,
Часы ленивы, как века...
Беспомощно слабеют ноги,
Бессильно замирает грудь...
Взглянешь назад — нет полдороги,
Вперед — как вечность долог путь!..
И вот с мучительной тоскою
Из груди рвется тихий стон
С невыразимою мольбою
О смерти... Но всё тот же сон:
Я вижу снежные вершины,
Ущелья, пышные долины
Далекой родины моей,
Я слышу песнь моих друзей...
Как барс, ужаленный стрелою,
Очнусь, бросаюсь вновь вперед
И мчусь неведомой тропею,
Пока вновь сердце не замрет...
Друзья, простите тягость речи
Скитальцу бедному, — порой
Избыток чувств и сладость встречи
Жемчужной искрятся слезой...
Простите, что родное блюдо
Слезами подслащаю я...
Клянусь вам, велико то чудо,
Что с вами греюсь у огня...»

Все молча страннику внимали —
Мальчишка не доел чурек, —
Но, слушая, не понимали,
Откуда, что за человек?..
«Я вижу, — начал он с улыбкой, —
Вас удивляет мой убор...
Что делать? Он невольной шуткой
Смешит суровость наших гор;
Я не ропщу, ведь перед вами
Певец-скиталец и пастух,
Убог умом, богат словами,

Кумир красавиц, враг старух...
Теперь иду, — здесь недалеко
Примолк над бурною рекой
Аул... На праздниках пророка
Хочу забавить там игрой
Наиба... Чай, давно пеняет
Старик... Не так ли?..»

Все молчат.

Кого в Наибе он теряет?
О чем те струны прозвучат,
Которые так запоздали
Узнать о смерти старика?
Зачем же слезы засверкали
В очах скитальца-кунака?
«Ужель, — гость продолжал тревожно, —
Вопрос невинный вас смутил?
Зачем молчите? Всё возможно, —
Наиб был стар... и слаб, и хил...
Быть может, он...»

— «Мой друг случайный, —

Заговорил черкес седой, —
Ты облечен какой-то тайной...
Клянусь вот этой бородой,
Ты не певец родного края,
А то бы песнь твоя, рыдая,
Печальной повестью давно
Ласкала слух... Но всё равно,
Быть может, шел ты издалека
К Наibu передать привет
От Джамбулата, то жестоко
Промедлил... Старика уж нет...»

Глухим, подавленным рыданьем
Дополнил речь его кунак...
«Чем объяснить, ответить как
Его слезам, его страданиям?» —
Решал в раздумии глубоко
Черкес...

«Аллахом и пророком
Тебя мы заклинаем, брат, —
Признайся, ты...»

— «Я Джамбулат...»

У крайней сакли, под навесом,
 Играет с маленьким черкесом —
 Сынишкой — молодая мать.
 Она старается поймать,
 А он, бутузик, убегает...
 Хохочет... Вот упал... кряхтит...
 Она проворно подымает
 Его, целует... он визжит,
 Барахтаясь в ее объятьях...
 Блажен, кто матери в занятиях
 Служить помехой в детстве мог!
 Но... что за робость?.. Чрез порог
 Калитки Джамбулат не смеет
 Переступить в счастливый двор...
 Как ночью малодушный вор
 В виду своей добычи млеет,
 Томится и дрожит в засаде...
 Вперед — нет мужества шагнуть,
 Назад — позорным мнится путь.
 Куда же?.. Джамбулат в досаде
 Сжал челюсти... «Ужель с щенком
 Холопа ей не надоело
 Дурить?» — и мощным кулаком
 В калитку постучал он смело...
 Внезапный стук смутил на время
 Ребенка... Молодая мать
 Пошла к калитке... «Гость —
 не бремя», —
 Адату этому послушна,
 Она привыкла принимать
 Его во всякий час радушно.
 Дверь растворяется проворно,
 И пред хозяйкою, задорно
 Облокотясь на посох свой,
 В широкой шляпе и с сумой
 Предстал знакомый нам кунак.
 Взгляд гостя, как огонь, пытливый
 Смутил хозяйку... Словно мак
 Зарделись щеки... Взор стыдливо
 Погас в ресницах... на устах

— «Всё ли случилось, III?»

Она промолвила: «Всё ли случилось»

Мягко, тихо, спокойно, спокойно.

Но всё же, кто не проходит мимо

Убогой сажи, и привитый

Передано ей Коралина,

Не отпусти его привитый.

Она, казалось, овладела

Собою, но всё поднимит

На «пастуха» еще не сшила.

Может быть... Другой, — и вмиг из привитого

Ее разучив обиделись не так,

Как слышно обиделись сердце,

И вновь перед ней стояли кураки,

Пастухи усталый и господский.

Его осанка, смелый взгляд,

Улыбка — ясно говорят,

Что он не из горь...

— «Благодарю

Сердцями правды твоей Бога!

Твое привитие в утробе

И, как свидеться сродном

Взгляди ^{душою моею} благодарю!

Красавица видна в не мало,

Улыбка замерла красиво...
Работа путалась в руках...
Огнем неизъяснимой тайны,
Волнуясь, трепетала грудь...
Но ненадолго...

«Гость случайный, —

Она промолвила, — твой путь
Тяжел, далек, сомненья нет...
Но всем, кто ни проходит мимо
Убогой сакли, я привет
Передаю от Ибрагима, —
Не откажи его принять...»
Она, казалось, овладела
Собою, но очей поднять
На «пастуха» еще не смела...
Момент... другой — и взгляд пришельца
Ей разум объяснил не так,
Как смутно объясняло сердце,
И вновь пред ней стоял кунак,
Пастух усталый и голодный...
Его костюм простой, свободный,
Его осанка, смелый взгляд,
Улыбка — ясно говорят,
Что он из гор...

«Благодарю

Сердцами правящего бога!
Твое приветствие у порога
Я как святыню схороню
В душе моей... Благодарю!
Красавиц видел я немало,
Но грудь мою ты взволновала
Иным восторгом, — я горю
Любовью брата... Никогда
Твой голос нежный не забуду,
В минуты счастья и труда
Я за тебя молиться буду
Всегда, везде... Я прост, ты видишь, —
Пастух не может быть иным...
Я знаю, скоро ты забудешь
Мои слова; как снег, как дым,
Как клятвы юности незрелой,
Они исчезнут без следа

Из памяти... Что за беда!
Прости, пастух я очень смелый, —
Таким красавицам, как ты,
Смешны восторги и признанья,
Забавны пылкие мечты
И скучны при луне свиданья —
Вот ваш обычный недостаток!
Прости, что гость твой больно падок
На откровенность... Не всегда
Таков я... Праздная болтливость
К ночлегу не сберет стада,
А здесь... где женская стыдливость
Не терпит юности затей,
Дичится радостей свободы,
Где слово мужа, визг детей —
Источник счастья и невзгоды,
Где ложны клятвы и обет,
Здесь промолчать... уменя нет!..
Ты видишь, гость твой не скушает...
А если подадут пирог,
Волчком заходит турий рог,
Забавен пастушок бывает...»
— «Кунак веселый ест немного
И напивается водой;
Он никогда не судит строго
Прием хозяйки молодой,
А потому могу я смело
Просить в кунацкую его, —
Не прогневишь».

— «Вот это дело!

Я ждал лишь слова твоего, —
Ведь басней соловья с тобою
Нам не насытить, но теперь
Благословляю всей душою
И твой привет, и эту дверь...
Я мужа твоего знавал...
Мы часто в альчики играли...
Он лучше всех нас воровал,
Но мы его за трусость звали
Тихоней... О тебе, скажу,
Я знаю только понаслышке...

И мальчик ваш?» —

— «Да».

— «О сынишке

Не знал. . . и больно накажу
Его, разбойника, за это. . .»

Какая странная примета,
Читатель, узнавать людей:
Мы вызываем у детей
Испуг и слезы поцелуем,
Когда неискренно целуем,
Когда не любим их. . . Поверь,
И Джамбулат хотел теперь
Притворно приласкать ребенка,
Но он не дался, — мальчик звонко
Заплакал — и скорей, скорей
В объятья матери своей!
Табу всеправедному богу!
Табу хозяевам! Пора! . .
Но гостя выпить на дорогу
Хозяйка просит из «тура».
«Я опьянею. . .»

— «Добрый путь! . .

Ты пьешь здоровье Ибрагима. . .»

— «А чтоб вас вместе помянуть,

Скажи мне имя. . .»

— «Я — Фатима. . .»

— «Одну Фатиму знал и я.

С тех пор красавицу такую

Я не встречал. . . Как дочь родную,

Как равнокровное дитя,

Князей почтенная семья

Ее взрастила на свободе. . .

Одна другой звучней, милей,

Как о волшебнице, о ней

Слагались повести в народе. . .

Смотрянам не было конца. . .

Но стать женой. . . нет, невозможно!

Старик ей заменял отца,

А юный князь. . . О, как безбожно,

Как непомерно наказание! . .

За Сунжей вспыхнуло восстанье. . .

Мату всенраведнаму бою...
Мату восхваляю! пара!..
По востану вину на врану
Носи́на проси́на ив, "твора"

→ Я отъидилю:

— Добрий нут! —

Мне всемь сдрокле Нравна...
А что-до вавь вивосте наемь му?
Срахи илю илю...

— Я — графиня...

Одну графиню знала и я.
Сотворь парь красавицу танку
Я не вейпрогал... Какъ догь радну,
Какъ равнокровное дитя,
Кирсея потемнаея семьея
Ее вросити на свободи..
Одна другай звучити, мимити,
Какъ о волшебнице, в ней
Слагались повосте вь парадн..
Слоотрипань не дило конца..
Но стайе чей... итай, не возмохно!

И князь исчез в бою одном
Бесследно... Но беда не в том, —
Пусть он убит, казнен на плахе,
Всё ж лучше, чем...»

— «Жених был жив?!» —

Хозяйка перебила в страхе.
«Казалось, нет. Так порешив,
И старый князь стал падать духом.
Вторым ударом он убит:
Красотка, доверяя слухам,
Позорит клятвы, не щадит
Родных адатов и тайком
Выходит за раба...»

— «Довольно!

О ней доскажешь мне потом...
Ты мне о князе молодом
Не всё сказал...»

— «Длинна уж больно

И не занята речь о том,
Как он в плену, в цепях железных,
В темницах, в подземельях тесных,
Грустил и думал лишь о ней,
Лишь о красавице своей...
Как наконец, опять свободный,
Он к ней пришел больной, голодный,
И встретил безучастный взгляд...»

— «Но имя князя?»

— «Джамбулат...»

— «Пастух! прости... я вся стораю...
Я не могу владеть собой.
Всё это — сказка... да? Я знаю,
Что князь убит...»

— «Он пред тобой!..»

4

Объята сакля тишиною...
Лучины тусклый полусвет
Бессильно вздорит с темнотою...
Уж полночь... Ибрагима нет...
Ребенок спит спокойно, мило...
Самой Фатиме не до сна, —

Всю ночь прождать она решила
И ждет... задумчива, грустна...
Вдруг легкий стук... Она вздрогнула...
Шаги всё ближе... Нет, не сон!
Приехал, думает... взглянула
И изумилась... Что ж!.. Не он...
Не муж... Пред нею очутился,
Как призрак ночи, Джамбулат...
«Ах!.. Это ты?»

— «Да... Заблудился...

Застигла буря... Ночь как ад —
Ни зги не видно... Нет дорог,
Размыто всё... Мосты сломало...
Признаться, досталось немало, —
Едва-едва добраться мог...
Но всё прошло, и слава богу!
Сбирайся, дорог каждый час...
Нас кони ждут... Абы в дорогу,
А там пусть нагоняют нас...»

— «Что ты сказал?..»

— «Ничтожным страхом

Не оскверняй начатый бой
С холопами...»

— «Клянусь аллахом,

Обиды никогда такой
Я не ждала от Джамбулата...»

— «Не любишь ты!..»

— «Люблю, как брата,

Мне небом посланного вновь...»

— «Не больше?»

— «Это ль не любовь!»

— «Фатима!.. Полно! Где же слово,
Где клятвы наши и обет?..»

— «Теперь не воскресишь бывшего:

Не требуй, не ищи, — их нет...»

— «Изменница!..»

— «Ждала я долго...

Суди, легко ли ждать, когда
Кругом все осуждают строго
Мой возраст, девичьи года?
Просить руки моей, как счастья,
Шли и уздени, и князя

И, не найдя во мне участия,
Чернили клеветой меня...
Боролась я четыре года...
Мне нелегка была свобода
Такого выбора, поверь,
Но всё ж я счастлива теперь...
Я не ропщу... Нарушив клятвы,
Дала я верности обет...
Кормлюсь плодом нелегкой жатвы, —
Где труд, там преступленья нет.
Благословлять мой выбор скромный
Обязан был бы ты, как брат,
А ты вступаешь с ночью темной
В союз... Опомнись, Джамбулат!
Перенесла я слишком много,
Чтоб так бездушно разрушать
Мою святыню... Бойся бога, —
Теперь я замужем, я мать».
— «Жена продажного холопа
И мать щенка...»

— «Не оскорбляй!..

Позорна, князь, такая злоба...»

— «Прости... Но после не пеняй!»

Объята сакля тишиною...
Лучины тусклый полусвет
Бессильно вздорит с темнотою,
А Ибрагима нет и нет...
В углу, на тахте, безмятежно
Вкушает сладкий, мирный сон
Ребенок... Мать склонилась нежно
Над ним и плачет... Из окон
Уж брезжит голубой рассвет...
Лучина слабо догорает —
То вспыхнет, то совсем стухает...
А Ибрагима нет как нет...
Пахнуло утром... Тень редеет...
Чуть-чуть румянится восток...
Щебечет ласточка... Бледнеет
Звезда. Рокочет чуть поток...
Скрипит арба... но... мимо... мимо!..
И снова в сакле тишина.

Фатима... бедная Фатима
Всё ждет и ждет... ни грез, ни сна!
Дрожит как лист... И кто узнает,
Какая цепь забот и дум
Гнетет, щемит и надрывает
Усталый, изнуренный ум!
С какой тоской, с какой любовью
Она склонилась к изголовью
Ребенка... Что сказать ему
Она хотела?... Но к чему?!
Малютка спит... Святые грезы
Его не в силах разогнать
Ни тихий плач, ни эти слезы,
Какими обжигает мать
Его чело, его ланиты...
«Спи, милый! Дорог этот сон,
Нет в мире радостней защиты...
Придет пора — ослабнет он,
Иссякнет, и, когда проснешься,
Поймешь, почувствуешь, дитя,
В каком отчаянье тебя
Лобзала мать, и — ужаснешься...
А до тех пор ничто земное
Да не нарушит светлых грез!
Весь мир, вся жизнь не стоит слез,
Не стоит твоего покоя!»
Но... дверь, как будто бы рукой
Волшебной, растворилась снова,
И в сень, глядевшую сурово,
Окутанную полумглой,
Черкес вступает молодой...
Его не видят... Осторожно
Снимает бурку он с себя...
«Так изнурять себя безбожно,
Фатима!...»

— «Ты?! Ждала тебя...»

— «Я мог приехать раньше, позже.

Ужель должна сидеть всю ночь?

Ведь этим путнику помочь

Ты не могла...»

— «Вернулся... боже!...»

— «Фатима! Плачешь?.. Что случилось?
Ребенок болен? Говори...»
— «Нет... Он здоров... Как сердце билось...
Не дожила бы до зари —
Всё бредила сырой могилой...
Теперь прошло... ты здесь, мой милый,
И я спокойна... Ты устал?
Промок под ливнем... голодал...
Но ничего... я накормлю
Тебя превкусным пирогом».
— «А я трусиху удивлю
За это шелковым платком...»
— «Ах, Ибрагим, зачем напрасно
Всегда расходуешь свой труд...»
— «Нет, ты надень... Вот так... прекрасно, —
Таких не видывали тут...»
— «Ты плохо ел...»
— «Я сыт... довольно...
Вот только новостями больно
Скупишься ты...»
— «Вернулся брат...»
— «Какой?»
— «Не помнишь... Джамбулат...»

5

Проснулся царственный Казбек,
Восход приветствуя румяный.
Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный...
Лениво выползают горы
Из облаков... Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.
Проснулись мирные черкесы...
В ущелье тесном, где аул
Венчает грозные отвесы,
Клубится пыль и слышен гул
Лихой забавы скакунов...
Бегут стада... и над скалою
Ползет прозрачной синевою
Дым хлопотливых очагов...

Проснулось всё... Прошла дремота,
Рассеян мрак... повсюду свет...
Ликует мир... кипит работа,
И всё живое свой привет
Шлет солнцу...

За Шайтан-горою,
В кустах, меж горами камней,
Поросших мохом и травою,
Ползет тропинка, словно змей...
За дичью раненой, шальной,
В трещинах горных запоздалый
Охотник иногда домой
По ней спускается усталый;
С сумой, ремнем и топором,
Тяжелой удрученный думой,
По ней взбирается с трудом
К опушке дровосек угрюмый;
На посох длинный опираясь,
Порой пастух по ней несет
С коша¹ в аул душистый мед
И сочный сыр... Теперь, цепляясь
За камни, плющ, кусты и мох,
То, как ребенок чрез порог,
Переступая чрез преграды,
По ней взбирался Джамбулат.
Куда? Зачем? Какой награды
Он ищет здесь?.. Тревожный взгляд,
Как зверь затравленный, блуждает,
Не отдыхая ни на чем...
Горячий пот с чела стекает...
Расстегнут ворот, за плечом —
Вся слава дедовских побед —
Ружье с насечкой золотою...
За пояс воткнут пистолет;
Кинжал оправой дорогою
Играет с солнечным лучом...
Башлык болтается небрежно...
Тревога тайная во всем!
А мир!.. Баюкая так нежно,

¹ Стоянка.

Чаруя дивной красотой,
Манит, ласкает до забвенья,
До слез, до сладкого томленья...
Простор... приволье... тишь... покой!..
Чуть слышен неустанный гул
Во мгле зарытого каскада...
Игрушкой кажется аул...
Как муравьи, расплозлось стадо
По яркой зелени. Пастух
За ним бредет неторопливо...
Вот он запел... Ему игриво
Повсюду вторит горный дух:

Аллах всемогущий,
Аллах вездесущий,
Велик ты в творенье твоём!
Полны чудесами
Земля с небесами,
Премудрость твою мы поём...

И степи, и горы,
И реки, и доли,
Озера, моря и леса,
От края до края,
Тебя прославляя,
В гимн стройный слили голоса.

Но вот тропинка обогнула
Как ад зияющий овраг,
Змеей по скату промелькнула
И затерялась в кустах...
Но вот опять в траве зеленой
Лоснится ленточкой. Пред ней
Волной прозрачной и студеной
Журчит и искрится ручей...
Она слегка к волнам склонилась,
Чуть-чуть их влагой оросилась
И, сделав с камешка прыжок,
Перескочила на песок...
Взглянула весело назад
И побежала шаловливо
На луг... в кусты... к камням... на скалы...

И под утесом, горделиво
Главой подпершим свод небес,
Мелькнув еще раз бледно, бледно,
Ушла совсем, ушла бесследно
В дремучий, вековечный лес...

6

Как здесь легко, как здесь привольно!..
Как хочется прилечь, уснуть...
Как робость тайная невольно
Теснит, волнует сладко грудь!..
Мир сказок, мир теней, прохлады,
Волшебных грез... Везде, кругом,
Густым увенчаны шатром,
Стоят столетние громады...
Вот липа... К ней склонился клен
И шепчет что-то... К груди белой
Чинары тянется несмелой
Рукой орешник... Он влюблен
В нее давно, но... что за пара!
Она, красавица чинара,
Царица леса, он пред ней —
Смешной, уродливый пигмей!
Вот старый дуб... Идет рассказ
О нем излюбленный народом,
Большой, таинственный... Под сводом
Его могучим свой намаз¹
Творят охотники — обычай
Бессменный исстари для всех;
Сюда же вечером с добычей
Они приходят на ночлег...
Лишь ночь — и ярко запылает
Костер... Польются песни, спор...
И долго, долго им внимают
В полудремоте черный бор...
Но не охотникам одним
Так дорог этот дуб заветный:
В минуты отдыха под ним
И дровосек мечтает бедный
Скорей укрыться от забот...

¹ Молитва,

Вот и теперь из чащи леса
К нему выходят два черкеса,
Вступают под широкий свод
Гиганта и к его стопам
Бросают топоры небрежно...
«Нет, видно, не угнаться нам
За ним, — он дьявольски прилежно
Работать стал...»

— «Разгадка в чем?»

Была б моей женой Фатима,
И я под княжеским бичом
Не меньше стал бы Ибрагима
Кичиться рабским трудолюбьем...
Не будь ее, и он бы людям
Служил за вьючного осла, —
Она одна его спасла
От нищеты и рабской лени, —
Жена его всему виной...
Лишь с нею он рука с рукой
Взобратся мог на те ступени,
Что незаслуженно сейчас
С холопом разделяют нас...»
— «Стыдись, товарищ! Ты до брани
Несправедлив... Из нищеты
Могли бы выйти при желанье,
Как Ибрагим, и я, и ты;
Но выбор сердца молодого
Княжны сказался лишь на нем
Не потому ли, что во всем
Ущелье не было другого,
Кто мог бы поравняться с ним
Неутомимостью в работе?
Как я, как ты, и Ибрагим
Родился в яслях... Но к свободе
Никто из нас его любовью
В своей неволе не пылал...
Трудом, облитым потом, кровью,
Он раньше всех свободным стал...
И что ж? Награда по заслугам:
Фатима вопреки людской
Молве решила быть женой
Его и неизменным другом,

И не ошиблась... До сих пор
Ничто их счастья не туманит;
Приветливо зовет и манит
Прохожего усталый взор
Их сакля прихотью воздушной;
Всегда готов прием радушный;
Всегда есть пенящийся рог
Густого пива и пирога.
Жизнь наша изменилась много:
Кто недоволен, а кто рад,
Судить грешно, — ведь всё от бога...
Но вот хотя бы Джамбулат...
Потомок княжеского рода,
Джигит, каких я не встречал,
Был славой, гордостью народа...
Попал к гяурам в плен... бежал...
Вернулся к нам — и наш он снова...
Но что застал он от бывшего?
Полуразрушенный аул
И башню без ребра и скул!..
С Наибом умерла и слава
Винтовок, шашек, скакунов...
Меж тем для княжеских сынков
Не по руке еще забава:
Соха, топор и наш ремень...
Холопов нет, работать лень,
А голод, говорят, не тетка —
И вот, как старая подметка,
Вздыхая пыль, сгущая грязь,
В народе топчется и князь,
Отцов наследье проживая...
И жалок он, да и смешон!..
Равняться с нами не желая —
Ты посмотри, — чем занят он?
С винтовкой, на коне, весь год
Скитаясь по аулам дальним,
Воспоминанием печальным
Везде смущает лишь народ...
Везде, едва-едва терпим,
Подарки вымогает силой...
Таков и Джамбулат наш милый...

Боюсь, что бедный Ибрагим
С женой намыкаются с ним...
Боюсь, что очень, очень скоро
У них он будет на хлебах,
И предки князя от позора
Начнут ворочаться в гробах...
Но... посмотри... ужель под вечер
Меня обманывает глаз?
Там кто-то был... заметил нас
И скрылся...»

— «Нет... должно быть, ветер,
Играя стройною чинарой,
Встревожил трепетную тень...
Но полно... Подымайся, старый!
Пора и нам рассеять лень
И косточки промять от скуки...»

Бор... темный бор... глубокий бор...
Бешмет промок... Немеют руки...
Всё глуше падает топор,
И всё больнее грудь вздымает
Тяжелый вздох... И кто узнает,
Как много сил и много дней
Здесь отнято у Ибрагима!
Но всё же многих он бедней
В ауле... Что ж? Неумолимо
Его преследовал всегда
Жестокий рок. Ребенком глупым
Служил он, круглый сирота,
Забавой детям сытым, грубым...
Полунагой, полуголодный
Ходил за стадом... Жил и рос
В конюшне темной и холодной,
Доил коров... сгребал навоз...
За промах всякий, всякий вздор
Его бранили, били, драли...
А уходил на волю — дали
Ему веревку и топор.
И как работал, как он бился!
Не знал покоя день и ночь...
Построил саклю и влюбился,
На горе, в княжескую дочь...

В борьбе с безумною мечтою
Жизнь стала пыткой. . . Видит бог,
Хотел покончить он с собою,
Но сердце побороть не мог.
Ползли без ласки и участия
За днями дни. . . Куда? Зачем?
Как вдруг, на удивленье всем,
Сама княжна, — какое счастье! —
Сама красавица княжна
Спасла его от этой муки:
Холопу первая она
С любовью протянула руки. . .
И он воспрянул. . . Снова грудь
Полна надежд. . . Свободен путь. . .
Силен, здоров, и, слава богу,
Зачахнет бедность понемногу,
Пусть только спорится работа! . .
Сегодня дикая природа
Внимает с самого утра
Глухим ударам топора. . .
Здесь места нет тщедушной лени.
Но полно! Золотой каймой
Охвачен лес, густеют тени —
Пора! . . Он грязною полой
Провел по смуглому лицу
И усмехнулся. . . «Ну, недаром, —
Пробормотал он, — зная, купцу
Я угожу своим товаром».
Однако надо торопиться. . .
Он взял топор и зашагал
Между деревьев. . . Вот струится
Родник знакомый. Он припал
Устами жадными к воде. . .
Напился. . . Широко вздыхает. . .
На мягкой, темной бороде
Струя жемчужная играет. . .
Он снял ее и поднял взоры
К просвету. . . Снеговые горы
Прощались с солнцем, близок час
Вечерний совершить намаз. . .
Он сел. . . разулся. . . снял бешмет

И начал мыться... «Помни бога
Всегда, везде...» И как он строго
Хранит излюбленный завет
Своей Фатимы дорогой!...
«Бог милостив... В его лишь власти
И наша жизнь, и наше счастье».
Бедняжка, как она порой,
Его в дорогу провожая,
Чуть не в слезах, чуть не рыдая,
Советует беречь себя...
«Работать меньше?.. Чтоб другая
Была наряднее тебя...
Нет, нет!.. Еще не раз просила...»
И что-то чуть слегка сказило
Его лицо... но на устах
Тотчас улыбка зазмеилась, —
Он рассмеялся... Чу! в кустах
Вдруг что-то щелкнуло, сломилось...
«Должно быть, заяц... Ах, косой!
Отделался одним испугом, —
Ружья нет, жаль, а то с тобой
Была б расправа по заслугам».
Но всё уж стихло... Он нагнулся
Опять к воде и улыбнулся...
«Должно быть, жутко ей одной, —
Боится темноты ночной...
Какой-то непонятный страх...»
И он слегка наморщил брови...
«С тех пор как Джамбулат в горах...
Ужель она боится крови?..»
Но снова шелест под кустом!..
Раздался выстрел... Он как гром
По всем ущельям прокатился,
Гудел, трещал, шипел, дробился
И долго, долго не смолкал
В далеких отголосках скал...

«Быть может, голубок влюбленный
К своей подруженьке летел», —
Заслышав выстрел отдаленный,
Пастух заметил вдохновенный,
Вздыхнул глубоко и запел:

В гнезде молодая
Голубка тоскует,
Дружка поджидая,
Всё стонет, воркует...

Лети, голубочек,
Лети, дорогой!
Твой милый дружочек
Грустит день-деньской...

Увы, он молениям
Ее не внимает.
Что скорбь и томленье,
Коль сам не страдает!

Не жди, дорогая!
Сраженный стрелой,
Твой друг, умирая,
Простился с тобой...

7

Вершины гор в лучах заката
Огнем пылают золотым...
Ползет в аул лениво стадо...
Из очагов клубится дым...
Одела тень холмы, долины...
К реке спускаются толпой
Черкешенки... Давно водой
Налиты звонкие кувшины,
Но нет конца игре веселой,
Девичьим песням и речам, —
И пусть! В неволе их тяжелой
Пусть хоть безумолчным волнам
Поведают мечты и горе...
Слеза смешается с волной
И быстро унесется в море...
А песнь над бурною рекой
Бессильно глохнет — всё равно!..
Проехал кто-то... Помешали...
Ну что ж... пора, пора давно!
Сегодня слишком запоздали...

А что ж Фатима? Что ж она
На берегу сидит одна?
Ведь все ушли... На цепи снежной
Погас давно румянец нежный...
Прохладой веет с синих гор...
Рыдает, стонет бесприютно
Седой поток... Темно... безлюдно...
Меж тем Фатима до сих пор
Сидит, считает будто волны,
С потока не отводит глаз...
Но их не счесть, в вечерний час
Они мучительно проворны...
Ужель поет?.. Чуть реют звуки,
Чуть льется песнь, но сколько грез,
Но сколько в ней душевной муки,
Любви и затаенных слез!

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...
Жду, мой милый, тебя,
Поспешి осушить мои слезы.

Вновь к тебе, милый мой,
Я склонюсь головой,
И спою тебе песню былую...
Расскажу тебе вновь
Про тоску и любовь,
Обойму горячо, расцелую...

В порывах волн, лаская слух,
Последний звук еще летает
В прозрачном воздухе, как вдруг
В глазах Фатимы вырастает
Как тень, с улыбкой неприветной,
С тревожным взором, наш герой...
Предчувствия хлынули рекой,
Вскружили ум красоти бедной,
До боли прищемили грудь...
Момент, другой — она очнулась
И как безумная метнулась

К тропинке, но он занял путь...

«Пусти!..»

Он злобно усмехнулся...

«Чего ты хочешь?»

— «Ты моя...»

— «Несчастный! Поздно ты вернулся, —

Фатима умерла твоя... .

Зачем тебе мое паденье?

Ужели не довольно слез,

Тоски, унынья, озлобленья,

Разбитых юношеских грез?

За что ты так неумолимо

Тревожишь сон души больной?

Пойми, я всё для Ибрагима —

И честь, и счастье, и покой».

— «Их нет теперь, как нет проклятья,

Каким клеймила их любовь...» —

И он раскрыл свои объятия...

Фатима вздрогнула... . Вся кровь

Из сердца хлынула к мозгам...

«Уймись, глупец! Я не отдам

Честь матери на поруганье...

Коль нет ни капли состраданья

В тебе, то...»

Сделав шаг назад,

Она порывисто пригнулась,

Схватила камень, размахнулась...

«Убей!.. — промолвил Джамбулат. —

Убей, но выслушай, молю,

Ты прежде исповедь мою...

Не смерть страшна, — меня пугает

Твое презренье... . Бог лишь знает,

Как всё во мне полно тобой,

Как я люблю тебя, Фатима...

Не будь тебя, тебя одной —

И жизнь была б невыносима,

Грязна, позорна, как тюрьма.

Фатима... . вспомни ты сама

Часы томительной разлуки!

Я перенес все эти муки...

В цепях железных, под кнутом...

И всё ж, чтоб стать твоим рабом,

Преодолел я все преграды...
А ты!.. Ужель другой награды
Не заслужил я?.. Что ж... убей!
Вся жизнь моя была твоей...
А помнишь ли, когда, бывало,
Всходил лишь месяц золотой,
Лишь вся природа засыпала
Под кровом ночи голубой,
Спешила ты в мои объятия...»
— «Молчи, молчи!.. Всему проклятье!
Не нам указывать судьбе...»
— «Нет, нет, Фатима... Нет, в тебе
Исчезнуть не могли бесследно
Восторги райских тех ночей!..»
Лицо Фатимы было бледно;
Из бархатных, больших очей
Катились слезы по щекам...
Она молчала...

«Боже правый!

Ужель всю жизнь пустой забавой
Придется оставаться нам
В руках судьбы? Ужель решилась
Расстаться навсегда со мной?..»
— «Да, да... Прощай!..»

— «Так нет же, стой!

Ты права этого лишилась,
Голубка, — ты моя теперь...»
— «Безумец! Прочь!.. Нечистой кровью
За всё ответишь мне, поверь...»
— «Я заплачу за всё любовью...»
— «Клянусь Кораном, Ибрагим
Отмстить сумеет...»

— «Сомневаюсь, —

Он перестал уж быть твоим...»
— «Что ты сказал?!»

— «Изволь, покаюсь,

Невелика, несложна тайна.
Чем обладал он лишь случайно,
То слишком пламенно любил
Твой Джамбулат... и он... убил...»
Договорил ли он иль нет?
Но голос дрогнул замогильный,

И взор потупился... В ответ
Ему послышался бессильный,
Едва-едва приметный стон...
«Фатима!..» — простонал и он...
Она, как ландыш, похилилась...
Но он успел, — она свалилась
К нему на грудь...

Над спящим миром

Плыл тихо месяц золотой,
С ущелья веяло эфиром...
В постели каменной, крутой,
То злобно в пену разбиваясь
О груди неприветных скал,
То вновь в каскады собираясь,
Неугомонно бушевал
Поток... Над ним, в объятьях брата,
Как труп безжизненный, лежит
Фатима... Сердце Джамбулата
Тоской беспомощной щемит...
О чем жалеть?.. На что пенять?..
Но вдруг... да, да! Жива опять!
Открыла очи... Как спокойно,
Как медленно блуждает взгляд
В лазури неба, где так стройно
Светила вечные парят...
«Где я? — промолвила тревожно
Фатима, проводя рукой
По лбу, и встала... — Невозможно!
Спала на круче, над рекой!..
И как я только не свалилась!..
Где ж мой кувшин?.. Его здесь нет...
Ты не видала?» — обратилась
Она с вопросом... Лунный свет
Ей разъяснил ее ошибку, —
Бедняжка думала улыбку
Подруги встретить, а пред ней
Мужчина, незнакомый ей...
Она внимательно взглянула
Ему в лицо...

«Ты кто такой?

Зачем ты здесь?»

— «Пойдем домой...»

В ответ ему она зевнула...
«Как холодно... Опять подуло
Могильной сыростью из гор.
Поток всё плачет... До сих пор
Не может пересилить горя,
Не может слез своих унять...
Его там успокоит море,
А здесь... здесь некому понять
Чужой тоски... И я точь-в-точь
Рыдала так над Джамбулатом...
Нет, я боюсь...»

— «Мой друг, ты с братом,
Не бойся...»

— «Ах!.. убийца... прочь!..»
Как зверь, ужаленный стрелой,
Она рванулась... побежала...
И где-то в темноте ночной
Еще раз дико простонала:
«Убийца!» — и захохотала...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не гневись же, читатель, что я утомил
Своим скучным рассказом вниманье...
Но поверь, мне Кавказ так несказанно мил,
Что ищу до сих пор с ним свиданья.
Был недавно... Проездом опять заглянул
В те места, где блуждал я когда-то...
Не узнали меня... Изменился аул, —
Вместо сакли — турлучная хата...
И обои, и печи... Висят зеркала
Вместо шашки, ружья, пистолета...
Неизменно одна над аулом скала
Диким мохом, как прежде, одета...
Так же гордо молчит, тот же пасмурный взгляд
На аул, на мосты, на дорогу...
Изменяется всё — и язык, и наряд...
Деньги наши в ходу, слава богу!..
Есть и школы... Я видел — из хаты одной
Вышел с книжкой, босой и без шапки,
Мальчуган... и еще... тот, в рубахе цветной, —

И посыпались чуть не десятки...
В это время какая-то женщина тут
Проходила в лохмотьях, босая...
Мальчуганы за ней! С дружным смехом бегут,
В нее грязью, камнями бросая...
На все выходки их она только порой
Отвечала забавною бранью:
«Погоди, шалунишка, придешь ты домой —
Я тебя без отца затираню...»
«Кто такая? — невольно вопрос я задал. —
Отчего она так нелюдима?»
— «Сам недавно я здесь, — мне духанщик
сказал, —

Сумасшедшая, видишь... Фатима...
Был сынок у ней... Веришь, — учитель разжал
С горла мальчика грешные руки...
Ну, спасибо, весной инженер приезжал
И увез, говорят, для науки...
Так осталась одна... и, как видишь, весь день
Себе места нигде не находит...
По ночам над рекою блуждает как тень
И безумную песнь свою водит:

Догорела заря,
Засыпает земля,
И ночные парят уже грезы...
Грудь изныла, любя...
Жду, мой милый, тебя,
Поспешి осушить мои слезы!..»

(1889)

147. ПЕРЕД СУДОМ

Я ваш теперь... Мое признание
Смягчит ли строгий приговор?
На что вам имя, год и званье?
Судите! Я убийца, вор.
Я не боюсь позорной казни, —
Давно готовился я к ней;

Как с грязной ношею своей,
С преступной жизнью без боязни
Всегда расстаться я готов
Как за добычею в овраге
От рук подвластных мне воров,
Так и в цепях, в петле, на плахе.

Судите! Жизнь меня не манит, —
Мне в ней не дорого ничто,
Добром, конечно, не помянет
Эски-разбойника никто!

Кому обязан я рождением,
Клянусь, не знаю до сих пор,
Тяжелым, грустным сновиденьем
Началось детство в дебрях гор.
В лохмотьях, грязный и босой
Я рос по княжеским задворкам,
Выл по ночам голодным волком,
Пел петухом перед зарей. . .
Кому в младенческие годы
Судьба готовит, как рабу,
Неволи тяжкие невзгоды,
Тому к позорному столбу
Нестрашной кажется дорога.
Чем я успел прогневить бога,
Свидетель бог, не знаю сам,
Но я страдал не по годам. . .
Для взрослых я служил забавой,
А для детей был пробой сил,
Худой, тщедушный и плюгавый;
Меня при встрече каждый бил,
Без нужды. . . так. . . за то, что слаб. . .
Не помню ласкового слова
Ни от кого, — всегда лишь раб,
Холоп, и ничего другого!
Кругом других детей ласкают,
А я для всех всегда чужой. . .
«За что меня лишь презирают,
Бранят, глумятся надо мной,
За что?» — зывал я. Нет ответа.

Искать его в себе самом?
Но мог ли разрешить я это
Своим младенческим умом?
«За что один я так наказан?
Кто мать моя? Где мой отец?
Кому страданием обязан?
Кто я?» — скажите наконец!
«Холоп», — мне слышалось повсюду
В ответ, другого званья нет,
Я это слово не забуду —
«Холоп!» Но это ли ответ?!

Как медленно тянулись годы
Бессилья, зависти и слез,
Сознанья смутного свободы,
Ночей без сна и сна без грез!

Мне шел четырнадцатый год,
Когда мне поручили стадо...
Как я любил шум водопада,
Вершины гор, небесный свод
И скал задумчивых молчанье!
Я понял птицы щебетанье,
Невнятный шепот, шум лесов.
Я чутко отвечал на зов
Орла, парящего в лазури,
Я понимал стенанье бури
И ветра заунывный вой...
Любил я раннею весной
В уборе праздничном природу,
Любил, как юный пастушок,
Свой посох, стадо и рожок,
Любил я жизнь, любил свободу...

В аул на праздник Магомета
Из гор охотно я ходил,
Весь день, всю ночь там до рассвета
В пирах и пляске проводил.
Меня так ласково встречали,
Что я готов был навсегда

Забыть тяжелые года
Былых невзгод, былой печали...
Немало зарождали дум
Во мне красоты мирозданья;
Потока горного журчанье
И грозный водопада шум
Ласкали часто на свободе
Таковыми песнями мой слух,
Каких не знал никто в народе,
Их пел, их ведал лишь пастух.
За них меня и принимали,
Как гостя, потчевали все —
И те, которые так гнали
Меня когда-то, даже те!
Холопа нет, раба не стало, —
Я был пастух, но человек.

Кто в детстве поплясал немало
За черствый просяной чурек,
Тот после смелою стопою
Выходит из толпы в кружок
И за красавицей младою
Плывет, как по морю челнок...
Я танцевал легко и плавно,
И все черкешенки со мной
Вступали в танец круговой
С восторгом, с радостью... Забавно, —
Не отличаясь красотой,
Между подругами порою
Я будто поселял раздор...
Иль так пленял их мой убор:
Рожок и шляпа полстяная,
Тяжелый посох и сума,
Приволье с рабством совмещаю,
Сводить красавиц мог с ума?
Не знаю... Но, пастух бездомный,
Я сжился с мыслью: «Выбор мой»,
И сердце подарил одной
Всегда задумчивой и скромной
Княжне Залине... Но вам чужды
Неволи беспросветной нужды,
Волненье молодой крови,

Вам не понять моей любви!
Да и на что вам знать тревоги
Согласно бьющихся сердец?
Где судьи и законы строги,
Там всё решает лишь конец.
К чему вас утомлять признаньем
Излишним? Я сказал, кто я.
Вся жизнь моя была проклятьем,
Вся повесть — гнусная петля.
Безумный раб, холоп ничтожный,
Щенок, подкинутый судьбой,
Я, мыслью ослепляясь ложной,
Открыто выступил на бой
С адатом родины суровой.
Я полюбил весь мир, весь свет
И дерзко требовал в ответ
Себе какой-то жизни новой —
Свободы, равенства и счастья...
Я дерзко требовал у всех
Любви и братского участия,
А встретил ненависть и смех...

С каким глубоким омерзеньем
Я был отвергнут!.. Стыд, позор...
Гнетущий страх пред пошлым мненьем
Толпы злорадной... Брань и спор...
Насилье... девичие слезы...
Вконец поруганная честь...
Врагов озлобленных угрозы
И крови жаждущая месть...
Припомнить всё теперь нет силы,
Но жизнь свою, свидетель бог,
На холм безвременной могилы
Тогда же променять я мог...
Всё, всё Залина погубила
Своею страстью роковой!
Зачем, безумная, любила,
Страдала, мучилась со мной?
Чего достигли мы любовью?!.

Весной, когда пронесся слух
О свадьбе, я забросил плуг...

Пошел... и обагрился кровью...
День гас... Румяный луч зари
Мерцал на Эльбрусе вдали...
У камня, посреди долины,
Убил я жениха Залины...
А остальных — их было много, —
За что и где? — не помню сам...
Я помню лишь — судил я строго,
Не внемля стонам и слезам...
Теперь я ваш... Без состраданья
Пусть судит и меня закон;
Я не ропщу, мое признание —
Не слезы, не мольбы и стон
Перед позорною могилой, —
Ее я заслужил с тех пор,
Как я назвал Залину милой
И та потупила свой взор...

Судите! Преступленьем новым
Не искуплю свою любовь, —
Потоком будет течь багровым
И без меня людская кровь...
Сказать «прости» родному краю,
Как прежде, не могу теперь...
В железо скованный, как зверь,
Я ненавижу, презираю
Улыбку радостного дня...
Жизнь будет краше без меня,
А смерть... Увы! — зачем лукавить? —
Она поможет позабавить
С моею повестью печальной
Моих суровых палачей...
За что прошу привет прощальный
Залине передать моей...

(1893)

148. КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО

(Подражание Н. А. Некрасову)

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На городском бульварчике
 Сошлись под вечерок
Семь выгнанных чиновников,
Отчисленных начальников,
Правителей, грабителей
 Народной нищеты. . .
Под липою развесистой,
На лавочке окрашенной,
По старшинству, по выслугам
 Уселися рядком.
Кряхтят. . . Глазами мутными
Обводят всех гуляющих
И с мундштуков черешневых
 Сосут табачный дым.
Подходит к ним развалисто
Старик в холщовом кителе,
В ботфортах препоясанных,
 В фуражке боевой.
Глаза его навывкате,
Усы его с подвесками,
И палка сучковатая
 В мозолистой руке.
Чиновники раздвинулись
И дали место новому
Соратнику бульварному.
 Садится. . . Все молчат.
«Читали, — басом выпалил
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
 Сегодняшний приказ?
Правитель канцелярии,
Иван Иванович Хапанцев,
Уволен по прошению
 От должности своей. . .»
— «Иван Иванович? Батюшки! . . .»
И новость скандальная,

Как шилом, приподняла их
С окрашенной скамьи.
«Иван Иванович Хапанцев...
Не он ли осторожнейший,
Не он ли гениальнейший
Меж нами был делец?
Он сам дарил чиновников,
Он сам сменял начальников —
И вдруг ему капут.
За что такое времечко
Застигло нас тяжелое?
Дохнуть нельзя чиновнику —
Ложись и помирай!..
Иван Иванович!.. Бедненький...
Ведь это осторожнейший,
Ведь это гениальнейший
Чиновник... Ах, как жаль!»
— «Вам жаль? Его — мошенника, —
Вновь как из бочки выпалил
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
Я выгнал бы давно!..
Иван Иванович Хапанцев,
Бесспорно, осторожнейший,
Бесспорно, гениальнейший
Меж вами был паук.
Вы все собирали крупными,
А он себе тихохонько
И с нищего, прохожего
Абаз последний брал.
За корпус и гимназию
Вы брали бы три радужных,
А он мне дал стипендию
За тридцать два рубля.
Но всё ж его грабителем
Могу назвать по совести
Всегда, везде, при всех.
А служба наша царская,
Обязанность гражданская
И правда современная
Не терпят уж воров.
Да и о вас, почтенные,

Хотя вы мне товарищи,
Скрывать не стану истины —
 В Сибири место вам! ..»
— «Кого в Сибирь? За что в Сибирь?!» —
Окрысились чиновники,
Как совы встrepенулися,
 Кричат на все лады.
«Вы криком беспорядочным, —
Начал уже октавою
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
Меня не испугаете:
 Я старый воробей.
Хотите слушать истину —
Я вам ее поведаю
 Сейчас же без прикрас.
И сами вы уверитесь,
Что вам, друзья любезные,
За все дела служебные
 В Сибири только жить.
Вот ты хоть, Голубятников,
Взгляни ясней на прошлое:
Каким путем-дорогою
 Ты угодил под суд?
Родился чуть не за морем.
Приехал к нам с родных степей
В страну лесов, в страну зверей,
 Признайся-ка, зачем?
Не доблесть ли гражданская,
Не служба ли отечеству
В такую даль туманную
 Тебя влекли? Ничуть! ..
Не знал, куда на родине
Свою склонить головушку,
Приниженный, обиженный
 И богом и людьми;
Озлобленный, оборванный,
Едва-едва лишь грамотный,
Ты в этот край «погибельный»
 Пустился на авось. . .
И что ж? Успех огромный!
В то время незабвенное

Ценили очень дорого
Таких плутов, как ты...
Начав почти со сторожа,
Сгибаясь в три погибели,
Змеей вползая в щелочки,
Ты быстро шел вперед.
Страстям покорный низменным,
Ты нивы благодатные
Топтал ногами грязными
Усердно, как лакей.
Без чувства благородного
Везде, у всех и каждого
Ты чувства благородные
Старался подорвать.
Как враг объединения,
Любви и примирения,
Ты внес в среду народную
Лакейство и разлад». —
«Чего плестись сторонкою, —
Метнулся Голубятников
И, головой мотаючи,
Бессвязно стал визжать: —
Сорока белобокая
Сильнее празднословием —
Ты факты мне подай!»
— «Изволь, изволь, любезнейший, —
Держал ответ с улыбкою
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
За фактом не стою.
Считай: в селе Неелове
Ты Фомку Конокрадова
За лошадь иноходную
Назначил старшиной;
Писцом села Дырявина,
Пустопорожней волости,
Назначил ты острожника
За бурку и башлык;
Поймав почтограбителя
И сняв с него дознание,
Ты с ним вошел в компанию
И взял в задаток шаль;

Писцов своих записывал
Ты в конную милицию
И сам их содержание
 По штату получал;
С наград и содержания
Подведомстных чиновников
Удерживал, как должное,
 Двенадцатую часть...»
— «Ах, батюшки!.. Совсем чудак... —
Тут взвизгнул Голубятников. —
И знаки уважения
 Считает он за грех!»
— «Га! Знаки уважения... —
Загоготал неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
 Покручивая ус. —
Изволь, изволь, любезнейший,
Тебе поверю на́ слово,
Но это всё ведь присказки,
 А сказка впереди.
Едва-едва фамилию
Свою умел подписывать,
А тут талант писательский
 Ты обнаружил вдруг.
По селам и урочищам
Уезда Терпигорева
Плоды своей поэзии
 С курьером рассылал.
Твой приговор *общественный*
По полноте и замыслу
Навряд найдет соперника
 В поэзии мировой.
Народные традиции,
Поверия, обрядности
Разрушить не задумался
 Ты почерком пера.
Для проявленья радости
И горя не замедлил ты,
Под страхом разорения,
 Создать один шаблон.
Параграф за параграфом,

Как птицы перелетные,
Тянулись вереницею,
 Выкрикивая: *штраф!*..
«Кто стянет из-под курочки
Яичко полутухлое, —
Параграф усмирительный
Ты вставил в заключение, —
 Того вдобавок *сечь*».
И эти нарушения
Законов государственных
Ты в селах терпигоревских
 Заставил подписать.
«А если кто откажется, —
Писал приказ ты с нарочным, —
Того связать и тотчас же
 Ко мне! .. Он бунтовщик! ..»
И приговор *общественный*
По селам и урочищам
Уезда Терпигорева
 Был принят как закон.
И тень лишь подозрения —
И с мала и с великого,
Толпе на посмеяние,
Народу в посрамление,
 Ты стал снимать портки.
И штрафы вереницею,
Как птицы перелетные,
Отвсюду потянулись
 В бездонный твой карман.
И этой *верой-правдою*
Ты в центре Терпигорева,
Как вызов правосудию,
 Воздвиг кирпичный дом.
И к вдовушке безвременно
Усопшего начальника
На долг двадцатитысячный
 Ты вексель предъявил.
И всё б сошло, как должное,
Но жадность непомерная
И подати казенные
 Хотела поглотить...

Вот тут тебя и сцапали,
Вот тут-то ты и съезжился...
И жаль, что не спровадили
Тебя на Сахалин».
— «Да, жаль, что не спровадили, —
Заерзал Голубятников
И, головой мотаючи,
Добавил: — Право, жаль...
Чем у себя на родине
Среди друзей-приятелей
Сносить лишь оскорбления,
Так лучше — Сахалин».
И грустью беспредельною,
И мыслью безотрадною,
Как тучей беспросветною,
Подернулись глаза;
И зонтом парусиновым,
Глубоко опечаленный,
Безмолвно, бессознательно
Он стал ширять песок.
«Ну-ну, прости, любезнейший, —
Смеясь, прервал молчание
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
Прости, я пошутил.
Хотел лишь по-приятельски
С тобою позабавиться,
А ты уж и насупился.
Ну, полно, говорю...
Известно нам доподлинно,
Что парень ты бесхитростный
И на скамью грабителей
Ошибочно попал».
И он рукой мозолистой,
Загоготав неистово,
Приятеля поникшего
Похлопал по плечу.
И речь его игривая
Понравилась чиновникам,
И все они улыбочкой
Почтили старика.

«А ты чего оскалился?» —
Свернул он неожиданно
К соседу праворучному,
К Подлизову Кузьме.
И сладкая улыбочка
Под взором вызывающим
Исчезла как видение —
Мой Кузька заалел.
«Грехи, грехи тяжелые
Достались нам в наследие
От первых прародителей, —
Старался он шутить. —
И кто из нас, наследников
Адамовых и Евиных,
Свободен в убеждениях?
Безгрешен только бог...»
— «Завидную теорию, —
Заговорил октавою
Старик в усах с подвесками, —
Вы создали себе.
Но в этом снисхождении
К неволе человеческой
Не много оправдания
Для воров и плутов.
А вот тебе, любезнейший,
Надежды на спасение
За пошлость виртуозную
В Талмуде даже нет.
Едва ли не с рождения
Ты зависть неусыпную
И злобу ненасытную
Воспитывал в себе.
Под маской миролюбия
Лишь чувства озлобления
Ты к людям без изъятия
Предательски таил.
Улыбкой изощренною
И лаской лицемерною
Ты сердце незлобивое
К себе располагал.
Затем его доверие
И теплое участие

Для целей мерзопакостных
Топтал и попирал...
Но речью отвлеченную
Вниманье просвещенное
Почтенных собеседников
Не буду утомлять:
Подробной анатомией
Сердчишка загрязненного
Я воздух упоительный
Не буду насыщать.
Я память ослабевшую
Верну лишь к обстоятельствам,
Имеющим значение
Немалое для нас.
Окончив курс училища
В селе Неурожаеве,
В сельскбе же правление
Ты поступил писцом.
Таланты не замедлили
Тотчас же обнаружиться:
Подложной перепискою
Ты наводнил уезд.
Но тесной показалася
Арена подвизания,
Карьера незавидная
Дурачить мужиков.
Надеясь на способности,
Ты перешел в губернию
И в должности сверхштатного
Три года проскрипел.
Три года был помощником,
И наконец зачислили
Тебя столоначальником...
Мой Кузька зашагал.
За тридцать лет служения,
Смиренного усердия
И всякого «способия»
Ты власть заполучил,
И мысли затаенные,
И думы сокровенные
На воле беспрепятственной,
Как розы, зацвели;

Квартирами казенными,
Холодными и теплыми,
Ты без зазренья совести
 Принялся торговать;
Правления и должности,
Смотря по их доходности,
Ты вора и грабителям
 В аренду стал сдавать;
И грошки арендные
За пастбища, угодия,
Леса, лиманы рыбные,
 Озера и пруды
В сундук твой несгораемый,
Ошибкой непонятною,
Слетались, как к волшебнику,
 Волшебные рубли.
Наука современная
И светочи познания
Найти в тебе сочувствия,
 Конечно, не могли:
Делишки нечестивые
Питаются потемками,
И умопомрачение
 Для них что пчелам мед.
И начал ты, любезнейший,
Под разными предложениями
С народным просвещением
 Позорную борьбу.
Доносами фальшивыми
Ты выжил представителей
Наук сельскохозяйственных
 Из сел и деревень,
А их места и должности
Продал своим сподвижникам, —
Сельская экономия
 Попала в твой карман.
Пошли потом гонения
На сельские училища:
Слизнул ты безнаказанно
 Лишь пять начальных школ;
Зато, признав рассадником
Крамолы в Терпигореве

Уездное училище,
Ты скушал и его.
Когда же из гимназии
За лень и тупоумие
Погнали Митрофанушку —
Сынишку твоего,
Ты даже и гимназию
Признал для населения
Тлетворным учреждением, —
Прихлопнул и ее.
По счастью, и ревизия
Нагрнуть не замедлилѣ, —
И вот, тебя, голубчика,
Прикрыли самого...»
Блеснул зарей багряною
Тут взор правофлангового,
Ивана Зуботычева, —
Подлизову Кузьме
Он был большим приятелем,
Любил его побаловать,
Любил ему потворствовать...
Ванюха рассерчал.
«Зачем же, брат, напраслину
Ты взводишь на товарища,
Как на злодея лютого? —
Прервал он старика. —
Так поносить почтенного
Кузьму Пантелеймоныча,
И так уж загрязненного,
Безбожно и грешно.
Начальные училища
Он закрывал, поссорившись
С училищной дирекцией,
И он не виноват.
Директор вольнодумничал
И сельские училища
В притоны вольнодумия
Нарочно обращал.
Сместит ли он учителя,
Пошлет ли заместителя —
О них директор рапортом
Кузьме не доносил.

Кузьма не по-народному
Служил хоть просвещению,
Но всё ж средь народную
 Не он ли сторожил?
Известно нам тем более —
Гимназию в Болотове
И школу в Терпигореве
 Закрыло „общество“». —
Загоготал неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
 Покручивая ус.
«Я очень рад, любезнейший, —
Ответил он октавою, —
Что ты Кузьме Подлизову
 Не хочешь изменить.
И он тебя, голубчика,
В минуту жизни трудную
Под градом правосудия
 Частенько выручал.
Немало вы морочили
Почтеннейшую публику. . .
И что за глупым козлицем
 Далось вам «общество»?!»
— «Кому далось козлицем? —
Взъерошился Иванушка. —
Пожалуйста, к подлизовым
 Меня не причисляй!
Хотя мы с ним приятели,
«Калехи» по училищу
Села Неурожаева,
 Но я с ним ни-ни-ни!»
— «Ах, Ваня, Ваня, Ванечка, —
Заметил укоризненно
Кузьма Пантелеймонович, —
 Какой же ты подлец!
С тобой-то мы, сердечные,
Не год, не два, как в сказочке,
И горести и радости
 Делили пополам.
И наша неширокая
Дорога разветвилась,

Когда уж с «генеральшею»
Ты закрутил роман.
И как могла так втюриться
Особа с воспитанием
В болвана беспримерного,
Ума не приложу.
Наперекор традициям
И вопреки приличию,
Пришлось оставить барыне
И мужа, и детей».
— «Зачем дела семейные, —
Прервал его с усмешкою
Старик в усах с подвесками, —
Публично поносить?
Я лучше вам поведаю,
Как стала эта барыня
Ивану Зуботычеву
Дорогу пролагать.
Припомни-ка, Иванушка,
Каким огромным дурнищем
Меж всеми сослуживцами
Ты выглядел всегда!
С каким же самолюбием
И гордой непреклонностью
Смотрела эта барыня
На строгий суд толпы!
С тобою, горемычная,
Три года целых мучилась,
Чтоб ты, хотя по праздникам,
Сморкаться стал в платок.
Какая ж масса времени,
И мужества, и стойкости
Ошибкой непростительной
Убито на тебя!
Но всё ж привычки хамские,
Как родились с Иванушкой,
Так и умрут, наверное,
С Ванюхой удалым.
Но баба-неудачница,
Тигрица кровожадная,
Ни пред каким препятствием
Она не постоит.

И стала наша барыня
Для достиженья в обществе
Былого положения
Изыскивать пути.
Она, как баба умная,
Смекнула, без сомнения,
Откуда к брату нашему
Вольготней подойти.
В то время незабвенное
Мышиные жеребчики
За ласку мимолетную
И беглый поцелуй
Бросали безнаказанно,
Как краденое золото,
В башмак пикантной барыньки
Присягу, долг и честь.
И этих-то жеребчиков,
Как и везде, в Болотове
Такое было множество,
Хоть вешай каждый день.
С коварною политикой,
Умело и обдуманно,
На них-то наша барынька
Открыла свой поход.
Законами стратегии,
Секретом нападения
И всей фортификацией
Владела так, как я.
И ласками, и глазками,
Улыбками, ужимками
Она умела вовремя
Удары наносить.
Ликерами, наливками,
Солением, варением
Она умела вовремя
Попотчевать «врага»:
Лакея ли, швейцара ли,
И кучера, и дворника
Мышиного жеребчика
Умела приласкать.
И, как в волшебной сказочке,
Из рога изобилия

На голову Иванушки
Посыпались чины,
Награды, повышения
По службе и по должности...
И Ваня удивляется:
«Откуда мне сие?»
И Ваня ухмыляется,
Что быстро подвигается,
И даже в восхищении
Сморкается в платок.
И миру православному,
На диво невиданное
Ивану Зуботычеву
Дают большой уезд.
Три пары коней впряжены
В карету восьмиместную —
По полю, полю чистому
Несется наш Иван.
И с гиком беспорядочным,
Пальбой и джигитовкою
За ним несутся всадники,
И пыль стоит столбом.
И села, и урочища
Уезда Безотрадного
Встречают Зуботычева,
Выносят хлеб да соль...
И к люду православному
Выходит, подбоченяся,
Высокий, статный молодец,
Ванюха удалой.
И шапка нахлобучена,
И брови понахмурились,
И ноздри порасширились —
Начальство ведь Иван!
И «обчество» с покорностью
При виде этой *строгости*
Пред Ваней преклоняется
Почти что до земли.
«Ну как живете-можете?» —
Он держит *речь* к собранию.
И все ему отвечают:
«Покорно балдарим...»

— «Я рад, я рад, ребяташки, —
Смягчается Иванушка, —
Что всё у вас в исправности...»
— «Покорно балдарим!..»

И люди православные
Приходят в умиление,
Что лучшего начальника
Не знали никогда.

«Вот, ваше выскородие, —
Тревожат уже жалобой
Ивана Зуботычева

Седые старики, —
В село-то наше бедное
Идут иногородние;
Не знаем, как избавиться:

Земли-то у нас нет... .

У них работа спорится,
И хлеб их лучше родится,
И глаже их худобушка... .

Не знаем, как и быть!

Дают сполна арендные
И должностным и писарю
Всегда творят повинности,
А всё богаче нас... .

Отец, кормилец родненький,
Возри на нашу бедственность,
Будь нашим благодетелем,

Как быть нам — научи!..»

— «Как быть? — и Ваня хмурится. —

Как быть? Пишите приговор,

И их, бродяг, мошенников,

Из сел гоните вон!..»

И люди православные
Приходят в умиление
И говорят так искренно:

«Покорно балдарим».

Садится снова козырем

В карету восьмиместную

И вновь по полю чистому

Несется наш Иван.

И с гиком беспорядочным,

С пальбой и джигитовкою

За ним несутся всадники,
Ликует наш Иван».
Чиновники потупились...
Хоть повесть непристойная
Во всех ее подробностях
Знакома им давно,
Но шутки неуместные,
Болтливость беспардонная
И правда беспощадная
Смутили их совсем.
В безмолвном исступлении
Глядит на обличителя
Ванюха ошельмованный,
Пыхтит, как паровик!
И ноздри раздуваются,
И под бровями грозными
Зрачки зеленоватые
Вертятся колесом.
Но вот по старой памяти
В защиту Вани выступил
Кузьма Пантелеймонович, —
Какой ни есть, а друг!
«Нехорошо, мне кажется, —
Зашамкал он двусмысленно,
Чтоб угодить и Вапечке,
И боевым усам. —
Нехорошо... Сублильные
Дела своих приятелей
На воду родниковую
Не надо выводить.
Притом мы все, как водится,
И хлеб и соль Иванушки
С немалым наслаждением
Вкушали иногда...»
Загоготал неистово
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою,
Покручивая ус.
«Ты прав, ты прав, любезнейший! —
Ответил он Подлизову. —
Мы хлеб и соль Иванушки
Глотали день и ночь;

Но это объединение
И пьянство безвозмездное
Для Вани Зуботычева
 Была большая честь.
Без них ему, наверное,
Никто из вас, почтенные,
На почве независимой
 Руки бы не подал.
К немалому прискорбию,
И скатерть самобранная
Не всем чревоугодникам
 Могла зажать уста.
Не ты ли втихомолочку
При всех удобных случаях
Злословил Зуботычева,
 Признайся-ка, Кузьма?
А мы — не правда ль, Ванечка? —
Чем чаще вместе кушали,
Тем больше и настойчивей
 Табак курили врозь.
Но всё ж могу по совести
Твоим делам общественным
Всегда воздать я должное
 Без злобы мелочной.
При редком тупоумии,
В народном управлении
Ты превзошел тактичностью
 Коллегу своего.
Чиновникам подведомственным
И писарям правления
Давал ты содержание
 Без вычета, сполна.
Хотя места служебные
Порой как милость барскую
Ты раздавал надежнейшим
 Лакеям, но зато
В торжественные праздники
Любил ты представительство
И дух объединения
 В народе развивал:
В метель и стужу зимнюю
Сзывал ты в Безотрадное

Под видом представителей
Народных пауков;
Засаленных, неряшливых,
Ты их вводил торжественно
Под звуки бальной музыки
В общественный кабак.
И вина разноцветные,
Как море разлитое,
И речи, речи льстивые
Лились всю долгую ночь.
Кутили *представители*,
Кутили, упивались,
Начальству небывалому
Хваленье воздая...
И Ваня ухмыляется,
И Ваня наслаждается,
И даже в восхищении
Поет, кричит: «Ура! ..»
Но Ваня не справляется,
Что им и представительством
Совместно пропивается
Общественный пятак.
Какое дело Ванечке,
Как достается обществу
Бокал объединения?
Дают — бери и пей!
Ведь в селах и урочищах
Уезда Безотрадного
Такое представительство
Велось уж давно! ..
И не тобой начатое —
Тобой лишь поддержалось;
Народные обычаи
Любил ты, спору нет,
И *знаки уважения*
С почетных представителей
Ты брал как исключение,
Щадя лишь их адат.
И кто тебе осмелится
Сказать, что вымогательством
Из лошадей отборнейших
Составил ты косяк?

За это снисхождение
К народному обычаю
Безропотной покорностью
 Тебе платили все;
А если проявления
И были непокорности,
То долго ль *возмутителей*
 Пресечь и укротить?! .
Приказами по волости
Ты стариков заслуженных
Бесславил, как крамольников,
 И гнал со схода вон.
И в селах, и урочищах
Уезда Безотрадного
Твои предначертания
 Встречали как закон;
Лишь чабанам засаленным
И крупным лесопильщикам
Давал ты аудьенцию
 При запертых дверях. . .
Но брюхо наше грешное,
Безмерно расширяясь,
Не знает насыщения,
 Провал его возьми!
И в селах, и урочищах
Уезда Безотрадного
Был принят беспрепятственно
 Твой косвенный налог.
С кабатчиком Дурмановым
Вошел ты в соглашение
И с ним во всех селениях
 Духаны откупил,
И люду православному,
Как к храму просвещения,
Одну дорогу торную
 К духану указал.
И пьянство поголовное
Огнем всепоглощающим
Росло и разливалось
 Рекой по деревьям.
Тяжелые, ленивые,
К работе непривычные,

Совсем, совсем забросили
 Хозяйство мужики.
И как уж ни старались
Старшины и десятские —
Деревни недоимками,
 Как лужи, зацвели.
Сменялись и десятские,
Карались и чиновники,
А подати подушные
 Никак не соберут! . .
И дал ты предписание,
Чтоб меры энергичные
По селам и урочищам
 Немедленно принять.
И стали с дикой ревностью
Старшины и десятские
Последний скарб крестьянина
 Кабатчику сбывать.
И это разорение
Мужик бы, верно, вытерпел,
Да бабы голосистые
 Без умолку режут. . .
Старшины подстрекательниц
Начали «парить веником» —
Мужья их заступились. . .
 Бунтуют мужики! . .
Вот тут-то и чиновничек
С секретным предписанием
Нагрянул в Безотрадное,
 Как мартовский снежок. . .»
Не выдержал Иванушка:
Вскочил он, подбоченился
И гаркнул зычным голосом:
 «Замолкнешь ли, усач?! . .»
И дрогнули чиновники,
И липа покачнулася,
И листья изумрудные
 Посыпались дождем.
«Ну-ну, — ответил с хохотом
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою, —
 Молчу, молчу, молчу. . .

Напрасно ты щетинишься
Общественному мнению:
Я о тебе ведь нового
 Ни слова не скажу;
А голос правосудия
С трибуны беспристрастия
Названьем подобающим
 Тебя уж оклеймил. . .
Даюсь лишь диву дивному,
Как вас, друзья любезные,
При ваших ухищрениях
 Переловил закон!
Иван и Голубятников,
Подлизов, даже Хапанцев
Страдали недомыслием,
 Ну, а вот ты, Рубков?»
И током электрическим
По жилам, по поджилочкам
Соседа леворучного
 Прошел его вопрос.
Рубков — чиновник пухленький,
Лицо — как роза майская,
Глаза — как мыши в норочках,
 По пояс борода;
И, как пред казнью лютою,
Глаза блеснули ужасом,
И краску бледность смертная
 Согнала вмиг с лица.
Рубков чиновник с выдержкой,
С бонтонным воспитанием,
Картавит не без грации:
 «Чегек, бокаг вина!»
Порывы увлечения
По месту и по времени
Умеет регулировать,
 Как клячу водовоз.
И здесь из замешательства
Он вышел победителем:
Ни словом оправдания
 Он не почтил вопрос.
Лишь взором умоляющим

Взглянул на обличителя,
И чуть заметно дрогнула
 Над правым глазом бровь...
Безмерно разговорчивый,
Старик в усах с подвесками
И с сучковатой палкою
 Доволен был и тем.
Болтливый по призванию,
Он ищет собеседника,
Как камень терпеливого,
 Немого как форель.
«Моргать, дружище, нечего! —
Вдруг гаркнул он придиричиво. —
И что за оправдание
 Кривляться и моргать?
Манера непристойная!
Не ты ли воспитанием
Пред всеми сослуживцами
 Кичился, как индюк.
В каких ты разновидностях
На сцене подвизания
Не изощрял способностей
 Своих как виртуоз!
И было чем похвастаться!..
Таланты разнородные,
Как в луже инфузории,
 В тебе кишмя кишат.
Живучесть их кошачая,
Значенье их немалое,
Заслуги их пред родиной
 Толпе не оценить.
На поприще художника
Ты поставлял начальницам
Узоры вышивания
 И метки для белья,
Резцом владея скульптора,
Дарил ты самодельными
Игрушечными саклями
 Начальничьих детей.
Одна богиня музыки
К тебе по недомыслию

Затылком повернулася —
Рубков не музыкант!
Но дело поправимое:
Ты в слободском училище
Из мужичков чуть грамотных
Образовал оркестр.
Дудят, пишат и щелкают
Толпе на удивление,
Тебе на повышение,
На горе лишь отцам.
Несут они повинности
Для школы той немалые,
Чтоб слить науки разные
В один «Персидский марш».
Являясь председателем
Дырявинского общества
Законных истребителей
Пернатых и зверей,
Ты слободского школьника
Избил нагайкой дó крови
За то, что он на площади
Поранил воробья;
Тогда как в назидание
Дырявинскому обществу
Ты дичью запрещенною
Питался круглый год.
В народном управлении
Ты был таким же гением,
Каким был, без сомнения,
Ванюха удалой.
Адаты и обычай
Дались тебе до тонкости,
А дело представительства
Для вас — волшебный клад.
Все годовые праздники,
Начальство и ревизию,
Непрошенных и прошенных,
Знакомых и родню
Торжественно, напыщенно
Встречал ты с представительством,
И все расходы *праздника*
Невольню нес народ.

Пути ли сообщения
Исправлены меж селами
Хозяйственными средствами,
Засажен ли бульвар,
Общественные пастбища,
Леса ль в аренду отданы —
Зови гостей из города,
Гуляй, кричи «ура!»
И пили *представители*
В шатрах из яркой зелени,
Начальству и строителям
Хваленье воздая.
Зато уж о ревизии
Мирских казнохранителей
Никто из представителей
И пикнуть не посмей.
Систему вымогательства
И виды расхищения
Сефьскóго сбережения
Ты применял с лихвой.
Любитель этнографии,
Знаток старинной утвари,
Ты для *музея* нового
Открыто грабил всех.
Занявшись джигитовкою,
Из полукровных *аглицких*,
Адату не препятствуя,
Ты сколотил табун.
Зато в среду народную
Ты внес цивилизацию, —
Плодами просвещения
Объелись мужики.
Мирскими сыроварнями,
Мирскими лесопильнями
Расстроил ты мякинные
Желудки их вконец.
Как призрак Змей-Горыныча,
Теперь еще им чудится
Одно название лютое —
Общественный завод.
А как мечтали, глупые,
Разбогатеть заводами!

Чего-чего лишь в будущем
Им не сулил ты, плут!
«Уж в первый год излишками
Внесем в казну повинности,
А там пойдет. . .» Поверили!
Дают всё, дураки!
Явились немцы умные,
Пошла работа дружная,
И денно-нощно гикают
Пронзительно свистки.
Несется быстро реченька,
Широкая, обильная,
Та реченька молочная,
В общественный завод.
В подвалах, словно в лавочке,
Битком набиты полочки
Заморским сыром, — вот оно
Мужицкое добро!
Несется быстро реченька,
Несет леса сосновые —
Казенные и частные —
В общественный завод.
Пилите шибче, пилочки,
И дайте нашей волости
Труды и гроши кровные
Скорее возместить.
И ждут. . . настанет времечко,
Что ты за них излишками
Внесешь в казну повинности. . .
Потеха да и всё!
Тогда лишь только, глупые,
Очухались и поняли,
Какую шутку пошлую
Ты с ними разыграл,
Когда уж было следствием
Формально установлено,
Что все заводы выстроил
Кабатчик Бурсаков.
И этим проявлениям
Талантов и способностей
Немало протезировал
„Писательский талант“».

Послышалось хихиканье
Максима Лизоблюдова,
Известного редактора
 Позорного листка.
«Хи-хи, талант писательский! —
Он не смолчал *по принципу*, —
Рубков талант писательский!..» —
 И закатился вновь.
«Так что же я, по-твоему, —
Задал вопрос Максимушке
Старик в усах с подвесками, —
 Выходит, значит, вру?»
— «Зачем же... нет... я только так... —
Залебезил Максимушка. —
Рубков писал отчетности
 Обедов и чаев...»
— «Отчетности? Вот то-то же! —
Загоготал неистово
Старик в усах с подвесками. —
 Выходит — он талант!
Я знаю вас, писателей!
Признать в другом способности
К газетной публицистике
 Для вас булатный нож.
Отчетности!.. А мало их?
И что тебе обидного?
Равнять Рубкова, кажется,
 Не думал я с тобой.
Ты публицист уж признанный,
И «Ведомости мерзкие»
Такого литератора
 Не скоро залучат.
Букетом специфическим
И краской возмутительной
Газета Любоедова
 Обязана тебе.
Ее передовицами
И *письмами* из-за моря
Ты кинул грязью в общество
 И осквернил печать.
Талант неиссякаемый!

Перо неистошимое!
И Яше-юродивому
 Далеко до тебя.
Хотя у Яши пасквили
С неменьшим обобщением,
Но краской либеральнойю
 Его прикрыта ложь,
И бранью юродивого
Не всякий возмущается, —
Его задача явная:
 За строчку взять пятак.
Совсем другие замыслы
Руководят бессовестно
Пером твоим разбойничьим, —
 Ты страшный карьерист.
И вскорости, наверное,
Попал бы ты в сановники
С Семеном Людоедовым,
 Когда б он не слетел.
Напрасно, брат, ты тужился
Хвалить его *энергию*
И меры *репрессивные*.
 Увы! всему капут!»
Обидным показалось
Семену Людоедову,
Что неуместно треплется
 Персоны его честь.
Вскочил он на скамеечку
(Он роста был аршинного),
Сердито топнул ножкою
 И крикнул: «Замолчать!»
И замерли чиновники. . .
Изломанная талия
Семена Людоедова,
 Его задорный нос,
Папаха заостренная,
Уста полураскрытые
И, как у мопса старого,
 Стеклянные глаза,
Аршинный рост, надменный тон —
Всё это без сомнения

Заняло на мгновение
Седого усача.
Привстал он, подбоченился
И, взглядом испытующим
Измерив Людоедова,
Принялся гоготать.
И это гоготание
Настолько было жизненно,
Что ломовые лошади
За ним начали ржать.
«Ой, уморил! . . . Ой, пощади! . . .
Ай да Семен! . . . Вот удружил! . . .» —
Стонал старик неистово,
Хватаясь за бока.
И это добродушие,
Как будто солнце ясное
В помоях, отразилось
В чиновничьих глазах.
И лица омраченные
Неволью прояснились,
Неволью зазмеились
Улыбки на устах.
Смеются безбоязненно,
Как в писарской чиновники. . .
На что Кузьма — и тот себе
Хихикает в кулак.
Безмерным озлоблением
Кипела грудь «могучая»
Семена Людоедова.
О, если б! . . . Но увы!
И память неизменная
Шепнула Сеньке Грозному,
Что время переменчиво,
Что он теперь ничто.
И понял глупым разумом
Тут Сенька необузданный,
Что нарушенья всякие
Клоповником грозят;
Он стиснул зубки острые,
Вернулся к месту прежнему,
Надвинул шапку на брови,
Замолк и засопел. . .

«Эх, Сенька, Сенька, — вымолвил,
Осилив гоготание,
Старик в усах с подвесками, —
Ты всё такой, как был.
Пора забыть бы старое
И с новым положением
Давно бы время свыкнуться,
Чтоб горло так не драть.
Ведь правда не пугается
Ни гика басурманского,
Ни бури сокрушительной,
Ни вражьего меча.
Я разбирал способности
Твоих соревнователей,
А о тебе помалкивал, —
Скандала избегал.
Но ты по старой памяти
Дал волю ненасытному
Инстинкту пресечения
Индустрии чужой.
Но только не на робкого
На этот разик, Сенечка,
Напал ты собеседника,
Что догадался сесть.
А всё же для компании
Приятной не мешало бы
Поведать из минувшего
Странички две иль три.
Возьми на час терпения
У Вани Зуботычева
И слушай мою сказочку, —
Ведь, благо, вызвал сам. . .
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
Богатства были всякие,
Порядку же ни-ни!
Народы разнородные,
Начальство разночинное, —
Понять, как вавилоняне,
Друг друга не могли.
И цель их будто общая,
Стремленья не различные,

Меж тем как раки движутся
Назад, а не вперед.
Приказы циркулярные
И силы непочатые,
Как в дни столпотворения,
Мешаются в хаос.
Причин несовмещения
Желаний одинаковых
В работицу совместную
Немало, спору нет.
Охотно поручил бы я
Максиму Лизоблюдову
Хоть раз по чистой совести
О них заговорить;
Но принцип Лизоблюдова,
Как «Ведомости мерзкие»,
Построен не на совести,
А на корыстной лжи.
И ради Людоедова
Подвергнуть искажению
Какую хочешь истину —
Максимке наплевать.
А так как повесть мрачная
Не терпит искажения,
То мы уж Лизоблюдова
Не будем утруждать.
Но чтоб не портить сказочку
Холодным изложением,
Я только здесь на главные
Причины укажу.
Живя в стране неведомой,
Народы разнородные
И речь вели по-своему,
На разных языках,
И меж собой исконную
Вели вражду. . . Как водится,
Пред сильными бессильные
Клонили выю ниц.
Но вот пришел из-за моря
В поля те первобытные
С литой стальной пушкой
Могучий богатырь.

Бессильные с охотою
Признали в нем заступника,
Надменных же он силою
 Заставил бросить щит.
И рать свою несметную
Он поселил меж селами,
Чтоб между усмирненными
 Порядок поддержать.
И роздал он в наследие
Своим войскам все лучшие
Поля, леса стоячие
 За верность их и труд.
И горе побежденному —
Народы усмирненные
И села разоренные
 Остались без земли.
И, горе неразумному, —
Народы полудикие
Ничуть не беспокоились,
 Что земли их тю-тю.
Расставив по урочищам,
По весям и по волостям
Своих военачальников,
 Могучий богатырь
Умчался снова за море...
Отсюда наша сказочка,
Как из-под камня реченька,
 И стала вытекать.
Причина, значит, первая
Теперь понятна каждому...
И что за жизнь народная,
 Когда в земле нужда!
Меж тем военачальники
По дряхлой, видно, памяти
Пошли переиначивать
 Наказ богатыря.
И вместо просвещения
Наукой и искусствами
Начали одичание
 Нагайкой изводить.
И вместо бережения
Народного довольствия

Начали грабить каждого
И днем и по ночам.
И вместо миролюбия
И чувства благодарности
В сердцах народных сеяли
Проклятье и вражду.
Причина эта, кажется,
Совсем немаловажная...
Увы, друзья любезные,
Причастны к ней и вы!
Меж тем летело времечко,
И вместо благочиния
Росло лишь одичание
В неведомой стране.
Мудрят, ломают головы,
Понять не могут за морем,
Каким путем-дорогою
Вселить в народе мир.
Одно военачальники
В своих доносят рапортах:
«Никак не можем справиться
С преступным дикарем».
И шлют тогда из-за моря
Что ни на есть сердитого
Старшего вместо прежнего,
Попавшего под суд.
Мудрит и он по-прежнему,
Пока не проворуется...
И так до бесконечности,
Как сказка про бычка.
Вот тут-то стала звездочка
Семена Любоедова
Гореть на небе пасмурном,
Как сальник в чердаке.
Ведь службу начал Сенечка
В заморской артиллерии,
Верхом на пушке, бедненький,
Поездил тридцать лет.
В нем лютость непомерная
Тогда уж обнаружилась,
Тогда уж в озлоблении
Он мог разгрызть ядро.

Начальству не понравилось
Такое молодечество,
И он, простившись с пушкою,
 Подался в писаря.
Писал он в разных волостях,
Но, всюду изгоняемый
За буйство, начал Сенечка
 Тужить и тосковать.
Но вновь попал он за море,
Где для забавы княжеской
Его, как зверя лютого,
 Держали на цепи.
Но звери кровожадные
Забавны лишь до времени
И, как их ни откармливай,
 Укусят всё равно.
Наскучил скоро Сенечка
Боярам думным за морем,
Не знали, как избавиться,
 Но случай им помог.
Нежданно и негаданно,
На счастье иль несчастье,
Старшой страны неведомой
 Задумал умереть.
И Сеньку Людоедова
Послали заместителем. . .
Событье чрезвычайное —
 Семену дали власть!»

(1893—1894)

149. «СЕ ЧЕЛОВЕК»

1

Всё спало, сумраку внимая,
Под кровом ночи голубой.
В волнах эфира утопая,
Плыл в небе месяц золотой.
Сплетаясь дивно в хороводы,
Кружились звезды в вышине. . .

Ничто в полночной тишине
Не нарушало сон природы.
Покрытый царственной славой,
Белеет купол величавый;
Под ним раскинут пышный град...
Чуть реет Гефсиманский сад...

2

Густые пальмы горделиво
Ушли в прозрачный небосклон;
Рокошет чуть, струясь лениво,
В постели каменной Кедрон;
Певец весны замолк, усталый...
Не дрогнет лист... Простор, покой.
Чу! Тихий стон... Вот он... босой,
В хитоне, в ризе обветшалою,
Стоит коленопреклоненный...
Глаза в слезах, лик изнуренный,
Чело прикрыла прядь волос...
То был молящийся Христос.

3

«Отец, умерь мои страданья, —
Порой слетало с уст его, —
Коль можно, чаша испытанья
Да минет сына твоего.
Да минет час душевной боли,
Скорбей, стенаний, слез, оков...
Но для спасения сынов
Погибших, отче, я по воле
Твоей святой венцом украшу
Главу, со славой выпью чашу, —
Пусть искуплением и кровь
Послужит миру, как любовь...»

4

Он кончил... Узкою тропею
Идет из чащи... Всюду тишь

И мрак, пронизанный луною.
Вот и поляна. «Симон, спишь?» —
Спросил он ласково. Ни слова
В ответ Христу. . . Лишь соловей
Вспорхнул из миртовых ветвей. . .
Своих апостолов он снова
Находит спящими. . . «Довольно, —
Он молвил им. — Мне очень больно,
Что бодрствовать со мной из вас
Никто не мог в последний час. . .

5

Вставайте! Осталось немного
Быть с вами мне, мои друзья!
Завет любви храните строго:
Любите, как любил и я;
Молитесь, тверды будьте духом. . .
За правду выступив на бой,
Не бойтесь жертвовать собой. . .
Трудящего зовите другом. . .
Бежите неразумной ссоры;
Просящему у вас опоры —
Подайте; презирая лесть,
Не зарывайте в сердце месть.

6

Вас будут бить и гнать — терпите,
За зло не воздавайте злом;
Всех ненавидящих простите
И не глумитесь над врагом.
Спешите навестить больного,
Пошлите узнику привет;
Повсюду разливая свет,
Мрак заблуждения былого
Рассейте навсегда в народе
И, приобщив его к свободе,
Любви и братству, к небесам
Идите по моим стопам. . .

Не бойтесь временной разлуки, —
 Пройдя со славой путь земной,
 Изведав скорбь его и муки,
 Вы вскоре встретитесь со мной;
 А до тех пор, где двое-трое
 Сойдутся, мой завет храня,
 Незримо буду там и я
 За дело ратовать святое.
 Идите с миром... Без боязни
 Взвешайте, как на место казни
 Меня сегодня поведут
 Мои враги... Они идут...»

И точно — сад сиял огнями:
 Повсюду появились вдруг
 С пылающими факелами
 Толпы вооруженных слуг.
 Апостолы пришли в смятенье.
 Всё стало ясно, — враг силен...
 Бежать?.. Но согласится ль он?
 Другого не было спасенья.
 Христос заметил их тревогу.
 «Неверные! — он молвил. — Богу
 Известно было уж давно
 То, что свершиться здесь должно...»

Так предоставьте ж участь вашу
 Во власть всевышнего творца, —
 Сын человеческий всю чашу
 Со славой выпьет до конца...
 За всё, за всё я сам отвечу,
 Не загрязню вас клеветой, —
 Идите с миром все домой,
 А я пойду врагу навстречу...»
 Апостолы оцепенели, —
 Где ярче факелы горели,

Где больше слышалось угроз,
Туда направился Христос...

10

Уже безжалостной расправой
Толпа усталая грозит
Иуде за обман лукавый...
Предатель съежился, дрожит
И ждет удара... Нет спасенья!..
Но кто-то говорит с толпой...
«Кого вы ищете?..» С собой
Иуда овладел в мгновенье...
Он подошел к Христу поспешно,
Обнял его притворно нежно
И, молвив: «Господи, ликуй!»,
Запечатлел свой поцелуй...

11

Толпа невольно всполошилась...
Пред ней не враг, сомненья нет...
Но этот знак... И разразилась
Веселым хохотом в ответ...
«Наш царь! Ходатай наш пред богом!» —
И все пред ним склонились ниц...
На эту панораму лиц,
Сияющих живым восторгом,
На их насмешки, оскорбленья
Христос смотрел без озлобленья...
«Зачем, друзья, вы шли за мной,
Как за злодеем, в час ночной?»

12

Но где ж предатель? Суматохой
Успел воспользоваться он.
И вот окольную дорогой
Спешит пробраться за Кедрон.
«Не дать бы повод к подозренью, —
Он думал. — Лишь бы до утра

Всех известить...» Но вдруг Петра
Встречает он под темной сенью.
«Иуда!.. Ты?.. Что случилось с равви?»
— «Он там... Но... Боже нас избави
Сказать, кто мы... Всему конец...
Нам не спасти его...»
— «Беглец!..»

13

И разошлись. Сверкают латы.
Коптят удушливой смолой
Огни в струе ночной прохлады...
Спаситель окружен толпой...
Идут... Но кто-то преграждает
Дорогу... Кинулся в толпу...
Грозит мечом... Вот он рабу
С проклятьем ухо отсекает...
Толпа как будто онемела,
Как будто объяснить не смела
Причины страха своего
И дивной смелости его...

14

И, как в позорном униженье
Пред грозной участью своей,
Стоит безмолвно, без движенья
И ждет удара... Но пред ней
В сиянье радужного круга
Явился сеятель любви...
Заметив признаки крови,
Христос с заботливостью друга
Пред изумленною толпой
Коснулся воина рукой
И силой слова своего
Внезапно исцелил его.

15

И в это чудное мгновенье,
Глубокий обрывая вздох,

В сердцах рождается сомнение:
А вдруг он в самом деле бог?
Толпа уже затрепетала
Пред этой мыслью, но потом,
Порабощенная умом
Незрелым, дико хохотала...
Один раба по праву друга
Трепал за фокусное ухо,
Другой искал за ухом след
Меча, но тщетно — его нет!..

16

К восходу солнца облетела
Столицу страшная молва:
Он пойман, взят, — и с ней густела,
Росла и праздная толпа
Перед преторией Пилата.
Христа судили!.. Каждый взор
Злорадно предвещал позор
Распятыя, как убийце брата,
Тому, кто в братские объятья
Нас призывал... Кто без проклятья
Здесь в жертву отдавал себя
Спасенью нашему, любя...

17

Вся площадь наводнилась чернью...
В безумной прихоти своей
Она ломилась на ступени
Трибуны царской... Нет для ней
Теперь ни доводов закона,
Ни мощных, каменных преград;
Бессильна горечь слез и стона —
Внушить и отступить назад...
«Подайте зрелищ, развлеченья
И крови!» Чистые ученья
Ей чужды в праздничном чаду, —
Она пьяна, она в бреду...

В позорной ярости не зная
 Любви и жалости, она
 Готова броситься, как стая
 Волков, на жертву; как волна,
 Сильна, упорна, неустанна. . .
 Не время медлить, — жертвы ей!
 Где жертва? Дайте поскорей!
 И жертва есть. . . Кому «осанна»
 Вчера неистово кричали,
 Чей путь одеждой устилали,
 Кого у городских ворот
 Встречал восторженно народ,

Тот брошен разъяренной черни.
 Поникнув гордой головой,
 Украшенной венцом из терни,
 Он вышел в ризе багряной
 Навстречу смерти и позору. . .
 Всё стихло, смолкло, приросло. . .
 Еще раз покорилось зло
 Его божественному взору.
 Один намек, одно лишь слово —
 И, кажется, толпа бы снова
 Могла приветствовать его
 Как властелина своего. . .

Но он молчал, свершая волю
 Его пославшего отца.
 На узника с душевной болью,
 С тоской, сочувствием без конца
 Смотрел и суд. . . Венец терновый. . .
 Позорный плащ, рубцы и кровь. . .
 За что? . . За братство и любовь,
 За мощный призыв к жизни новой,
 За свет познания и свободу?!
 Какой позор! Всеми народу
 Не смыть проклятия вовек.
 Опомнитесь! . . «Се человек. . .»

Настал миг грозного молчанья...
 Он смутно породил в сердцах
 Виновников его страданья
 Гнетущий стыд, позорный страх...
 Толпа вздрогнула, всполошилась,
 Простерла руки уж к нему,
 Как диким воплем — «Смерть ему!» —
 Внезапно площадь огласилась...
 Глупцы примера только ждали,
 За ним бессмысленно кричали
 В ответ наместнику они:
 «Распни его, распни, распни! ..»

150. ПЛАЧУЩАЯ СКАЛА

Осетинская легенда

Пишу опять, но вы признанья,
 Друзья, не требуйте, пока
 Вдали от вас часы изгнанья
 Ползут лениво, как века.
 Тоской мучительной разлуки
 К чему теперь тревожить вас?
 Не лучше ль почитать от скуки
 Вот этот небольшой рассказ?
 Давно, в младенческие годы,
 Его поведал мне пастух;
 Герой его — каприз природы,
 Судьбы злорадство, враг свободы,
 Какой-то кровожадный дух.

Давно, давно... Всегда два раза
 Сказать приходится «давно»,
 Когда нам нитью для рассказа
 Служить предание должно;
 Когда туманное начало
 Почти не вяжется с концом,
 И повесть рвется, как мочало,
 При изложении дурном;

Когда, забыв свои заботы,
Тревоги будничного дня,
У нас в часы полудремоты
Серьезно мыслить нет охоты
И сказкой тешимся, друзья.

Давно, давно, когда суровый
Кавказ во мраке утопал,
Когда о жизни нашей новой
Еще никто и не мечтал;
Когда судьбу людей решали
Порыв, каприз и произвол,
Когда для слез, для мук, печали
Гораздо больше было зол;
Когда для варварской забавы
Людская кровь лилась рекой,
Когда для подвигов и славы
Был нужен меч и бой кровавый, —
Тогда вот случай был такой.

Как гнезда по крутым карнизам
Необитаемых руин,
Рядами на утесе сизом
Лепились сакли осетин.
Открытый для грозы и бури,
Аул на небо не роптал,
Казбек незыблемый в лазури
Над ним алмазами сверкал.
У ног, под дымкой голубою,
На север из цветущих стран
Крутой, извилистой тропею
Несмело проходил порою
С дарами пышный караван.

Не много осетину надо
Теперь, тем менее тогда, —
Винтовка, лезвие булата,
Отвага, ловкость, быстрота,
В морщинах горных великанов
Настигнет тура, серну, лань,
Возьмет за путь от караванов
Давно положенную дань.

Тревожна жизнь, мятежно счастье,
Но странник в бурю, дождь и снег,
В часы осеннего ненастья
Находит у него участие,
Привет радушный и ночлег.

Мхом заросла тропа крутая,
И от аула нет следа,
А в нем богатая, большая
Была кунацкая тогда.
Седой, с осанкой горделивой,
Старик Сабан, бывало, в ней
Приветливо, без маски льстивой,
Встречал и потчевал гостей
И здесь за чашей круговую
От них выслушивал рассказ,
Как там, за цепью снеговой,
Народы тешились войною,
Стремясь пробиться на Кавказ.

Хозяйство старого Сабана
Вела его родная дочь
Азау, бедняжка неустанно
Работала и день и ночь.
Безмерно прихотливы грезы
Беспечной юности везде,
Но скорби затаенной слезы
Не иссушают грудь нигде
С такой ужасной быстротою,
Как там, на родине моей.
Азау была уже вдовою,
Увяли раннею весною
Цветы, возвращенные для ней.

Но небо было милостиво,
Дало ей сына — весь в «него», —
И как она его ревниво
Оберегала от всего!
С большими черными глазами,
С копной волос как белый лен,

Красавец-сын с его годами
Не в меру был смышлен, силен;
Любимец всех, — сбежит, бывало,
В аул к родным — исчез и нет!
Ему и горя было мало,
Что мать его в слезах встречала,
Придет — хохочет ей в ответ. . .

Окончен ужин, но рассказу
Конца и в полночь еще нет. . .
В былые времена Кавказу
Не трудно было знать секрет
Страны, где все права народа —
Покорность, труд, нужда и стон,
Где всё, что создает свобода,
Карал безжалостно закон.
Везде гнетущую тревогу
Вселяла весть о том, что враг
Поставил за Кубанью ногу
И силится пробить дорогу
К Дарьялу в девственных лесах.

Еще далек он, но для встречи
Готовым надо быть теперь,
Пока чугунные картечи
Не постучались в окна, в дверь
И, проломав в стене окошко,
Большая бомба по углам,
Дымясь, не начала, как кошка
За мышью, бегать по пятам.
Сабан тревожился немало, —
Он часто выходил на сход,
Увещевал. . . Толпа внимала,
Шумела, но слабо понимала
Опасность. . . Шел за годом год.

Тревожней становились вести, —
Пощады побежденным нет.
К защите родины и чести
Решит ли приступить совет?

Двенадцать стариков почетных
Уже рядят двенадцать дней,
Как встретить коршунов залетных,
Незванных потчевать гостей.
И лишь с тринадцатым заходом
Едва-едва могли решить,
Что лучше умереть народом
Свободным, чем кровавым потом
Рабами деспоту служить.

И весь народ единогласно
Решенье принял как закон,
Хоть волю понимали разно,
А рабство понимал ли он?
Решили заpastись отвагой,
Зернистым порохом, свинцом...
«Не поменяется папахой, —
Клялись все, — с девичьим платком
Никто из нас». И в довершение
Утес, замкнувший головой
Исток глубокого ущелья,
Народ решил без замедленья
Украстить башней боевой.

Работа быстро закипела.
На мшистых каменных плечах
Утеса положили смело
Подножье стен, — пусть знает враг,
Какой незыблемой заставой
Ему здесь загородят путь,
С какой отчаянной отвагой
Здесь каждый грудью встретит грудь!
Как, страха, жалости не зная,
Здесь все решились, как один,
Погибнуть, кровью истекая.
Как честь страны, свободу края
Ценить умеет осетин!

Лучи багрового заката
Погасли на вершинах гор...
К ночлегу возвратилось стадо...

Кипит работа до сих пор.
Подножье широко и прочно,
На нем, как вылита, стена,
И всё срослось с скалою, точно
На башню выросла она.
Спустились мастера к подножью
И пред творением своим
Отдались сладкому безмолвью, —
Впервые общею любовью
Любить ведь приходилось им.

С лучом румяного восхода
Дарила людям свой привет
Вновь пробужденная природа...
Но где же башня? Башни нет!..
Не видно на вершине дикой
Утеса даже и следа,
Как будто этот труд великий
И не был начат никогда.
Внизу лишь, в глубине долины,
Валялись плиты здесь и там...
Непостижимо! «Без причины
Нет бед», — решают осетины
И шлют молитвы к небесам.

Двенадцать стариков почетных
Уже рядят двенадцать дней,
Как испросить у сил небесных
Прощенье за грехи людей.
И чем прогневанное небо
Умилостивить, чтоб оно
С врагом, громящим всё так смело,
Не действовало заодно.
И лишь с тринадцатым заходом
Едва-едва могли решить,
Что чем под ясным небосводом
Быть небом проклятым народом,
Так лучше умереть, не жить!

Проклятье понимали разное,
А небо мог ли понять он?

Но всё ж народ единогласно
Решенье принял как закон.
Но так как слабыми умами
Нельзя постигнуть мысль богов,
То к ясновидящему Мами
Решили снарядить послов,
Быть может, в книге откровенья
Его померкшие глаза
Узрят те жертвы искупленья,
Какими чашу преступленья
Уравновесят небеса.

В аул, где жил тот самый Мами,
Пошли без шапок, босиком
Три осетина с пирогами,
Душистым пивом, шашлыком
И аракой. Там в сакле ветхой
Чуть тлел огонь. . . Кизячный дым,
Удушливый, тяжелый, едкий,
Кружился облаком густым.
В углу, в соломенной постели,
Валялся Мами сам, мудрец
И ясновидец, еле-еле
Его впотьмах там разглядели
Послы. . . Вот встал он наконец.

Уселись осетины чинно
По старшинству у очага его
И стали излагать картинно
Тут цель прихода своего.
Мудрец в безмолвии суровом
Выслушивал рассказ гостей
И становился с каждым словом
И с каждой мыслью их мрачней. . .
Речь шла о башне, об ужасном
Ее исчезновенье в ночь.
Вдруг в судоргах, в припадке страшном,
Стал на полу метаться грязном
Несчастный Мами, — чем помочь?

«Не нужно! Ничего не нужно! —
Заметил старший из гостей. —

Вы стойте здесь, внимайте дружно,
Запоминайте всё верней».
И точно — начал понемногу
Стихать припадок, а затем
Старик к ноге придвинул ногу
И тело выпрямил совсем.
В лохмотьях ветхой грязной шубы
Ровней уже дышала грудь.
Ослабли стиснутые зубы,
Начали шевелиться губы,
Вот-вот и скажет что-нибудь.

«О, табу, Аларды! — протяжно
И тихо произнес седой
Старик и, побормотав бессвязно,
Стал взывать вновь: — О, святой,
Пречистый, светлый, златокрылый!
Умерь свой гнев». И тут же стал
Метаться в корчах с новой силой,
Хрипеть. . . Вдруг страшно застонал. . .
Затих и навзничь без движенья
С минуту пролежал как труп.
У осетин от напряженья
Пред этой сценой наважденья
Не попадал уж зуб на зуб.

Но вот старик вздохнул глубоко,
Протер глаза, привстал и сел.
«Ох, провинились мы жестоко, —
Он молвил мрачно, — не хотел
Вначале дать сказать и слова. . .
О, табу, табу! Но потом,
Когда я стал молиться снова
И плакать, он спросил: «О чем?»
Я рассказал. . . Он думал много,
Сверкнул глазами и сказал:
„Нет, нет! Вы не боитесь бога,
Вас надо наказать так строго,
Чтоб всякий навсегда познал“.

„О, табу, табу, златокрылый! —
Взмолился я. — В твоих руках

Всех нас, весь мир небесной силой
Твоей стереть сейчас же в прах. . .
Но всё ж тебе несем моления,
Внемли им ты последний раз, —
Открой нам жертву искупленья,
Чтоб отстоять родной Кавказ.
Открой нам, слабым, многогрешным,
Как сделать доступ для врагов
Неодолимым, чтобы снежным
Вершинам не осталось вечным
Позором рабство их сынов!»

ПРИМЕЧАНИЯ

Поэтическое наследие Коста Хетагурова включает в себя произведения на двух языках — осетинском и русском. Поэт при жизни издал всего два сборника стихотворений. В 1895 г. в Ставрополе была напечатана его книга стихов и поэм, написанных на русском языке. В нее вошло пятьдесят стихотворений и три поэмы («Фатима», «Перед судом» и «Се человек»), четвертая («Кому живется весело») была запрещена цензурой. Книга осетинских стихотворений под названием «Ирон фандыр» была издана в 1899 г. во Владикавказе. В нее, по-видимому, вошли все произведения поэта, написанные к тому времени на осетинском языке, т. е. к осени 1898 г. В книгу включены были все известные нам осетинские стихотворения Коста Хетагурова, кроме следующих: «Прислужник», «Если бы пел я, как нарт вдохновенный...», «Привет», «Походная песня», «Упрек», «Дума жепиха», «Тоска влюбленного», «О чем?», «Новогодняя песня», «В новогоднюю ночь». С достаточной уверенностью можно утверждать, что четыре из них («Прислужник», «Походная песня», «Если бы пел я, как нарт вдохновенный...», «О чем?») написаны не позднее 1898 г. Почему они не вошли ни в беловую рукопись книги, ни в само ее издание, остается невыясненным. Названные десять стихотворений не публиковались при жизни поэта, равно как и три других: «Горе», «Солдат», «Тревога». Но относительно последних известно, что они были запрещены цензурой к публикации в сборнике «Ирон фандыр».

Если к этому добавить, что беловая рукопись сборника не является той окончательной рукописью, с которой производился набор книги, то станет очевидной трудность, перед которой стоят осетинские текстологи.

Издание «Ирон фандыра» поэт готовил сам, но проследить за его печатанием до конца не имел возможности. Когда книга вышла, то обнаружилось, что она сильно пострадала от редакторского произвола. Возмущенный вмешательством Гаппо Баева, позволившего

себе композиционные перемещения, поправки и пропуски в текстах стихотворений, Коста писал: «Ведь этому чурбану я дал право на чисто механическое посредничество между цензурой и типографией, а не право редактирования моих произведений... А распределение стихов в трех отделах? Никакой системы, никакой последовательности! ...какую горькую, возмутительно варварскую обиду он мне нанес этим бесцеремонным произволом над моим детищем».¹

Как явствует из этого документа, поэт сгруппировал свои произведения в три раздела (по идейно-тематическому принципу). Такое деление проведено и в прижизненном издании «Ирон фандыра». Но внутри разделов расположение стихотворений в ряде случаев нарушало авторский замысел. Так как наборная рукопись книги пока не найдена, а беловая рукопись, предшествовавшая наборной, не отражает последней воли поэта, восстановить авторскую последовательность стихотворений ныне не представляется возможным. Возникает и другая трудность: куда отнести стихотворения, отсутствующие в сборнике (и в рукописи), но, между тем, по всей видимости, мыслившиеся поэтом как неотъемлемая часть его «Осетинской лиры»?²

В первом научном издании «Ирон фандыра» (М.—Л., 1939), подготовленном В. И. Абаевым, было принято такое решение. Произведения Коста на осетинском языке, за исключением поэмы «Хетаг», составили одно целое — книгу «Ирон фандыр». В основу же построения книги была положена композиция белового автографа 1898 г. Стихотворения, отсутствующие в этой рукописи, включались в один из трех разделов сообразно их жанрово-тематической природе. Предложенная Абаевым композиция в принципе не вызывает сомнений и в основном сохранена в настоящем издании, за исключением перечисленных выше десяти стихотворений.³ Поскольку документальные данные о намерении поэта присоединить их к сборнику «Ирон фандыр» не известны, постольку они печатаются здесь в качестве особой, примыкающей к нему группы стихотворений под рубрикой «Дополнения к книге „Ирон фандыр“».

Из всех стихотворений сборника только одно имеет авторскую дату. Время написания большинства из них не установлено. Наиболее вероятные, приблизительные и гипотетические даты приведены в примечаниях.

Осетинские произведения Коста на русский язык переводились много раз. Немало новых переводов появилось в самое последнее время. Некоторые из них вошли в состав трехтомного издания сочинений Коста Хетагурова (М., 1974), выпущенного издательством «Художественная литература».

Произведения на русском языке, составляющие вторую часть настоящего издания, представлены в двух разделах: «Стихотворе-

¹ Письмо к Е. А. Цаликовой от 21 июля 1899 г. — Коста Хетагуров, Собр. соч., т. 5, М., 1961, с. 147—148.

² См.: там же, с. 300.

³ Без каких-либо пояснений они были введены в 3-е, посмертное издание сборника, вышедшего в Берлине в 1922 г.

ния» и «Поэмы». В каждом из них материал по возможности расположен в хронологической последовательности. Даты написания указываются непосредственно под текстами произведений, причем даты первых публикаций, фиксирующие год, не позднее которого создано стихотворение, заключены в угловые скобки.

Тексты русских произведений поэта приводятся по последним авторским редакциям. Значительную часть из них представляют собой прижизненные публикации в сборнике «Стихотворения» (1895), в газетах «Северный Кавказ» и «Казбек». В большинстве же случаев — это тексты двух рукописных сборников, хранящихся в литературном архиве Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Первая рукопись содержит 133 стихотворения; вторая (под названием «Хорошего понемногу») насчитывает 88 стихотворений. В отличие от академического Собрания сочинений Коста Хетагурова (тт. 1—5, М., 1959—1961), где по автографам приведены и такие стихотворения, которые известны в прижизненных публикациях с позднейшей авторской правкой, настоящее издание во всех случаях руководствуется сформулированным выше текстологическим принципом. Ввиду этого стихотворения под № 59, 66, 67, 69, 70, 77, 78, 82—84, 86—90, 94, 95, 97—106, 108, 109, 110, 112, 117, 118, 147 печатаются здесь по прижизненным публикациям (полную библиографию печатных источников, а также исчерпывающий свод вариантов и всех редакций см. в т. 2 академического Собрания сочинений Коста Хетагурова).

В печати многие произведения поэта появлялись с цензурными пропусками. В этом сборнике они восполнены по экземпляру «Стихотворений» (1895), принадлежавшему А. Я. Поповой, в котором цензурные изъятия собственноручно восстановлены автором. Впрочем, почти все эти купюры устраняются и по сохранившимся рукописям поэта. По автографам в данном издании впервые опубликованы «Поэту-мечтателю» и полный текст стихотворения «Зигзаги мысли в бессонницу».

Пояснения имен и названий, относящихся к быту, географии, истории и мифологии Осетии и других народов Кавказа, вынесены в Словарь.

I

«ИРОН ФАНДЫР»

Отдел первый

1. В рукописи и прижизненном издании «Ирон фандыра» является вступлением ко всей книге. Осетинское загл. стихотворения содержит в себе и другие оттенки значений: «завет», «обращение», «наказ».

3. Поводом к созданию стихотворения послужило разногласие между поэтом и его отцом, о чем Коста рассказал в письме к Ю. А. Цаликовой 12 сентября 1899 г. Осмысление этого разногласия привело Коста к созданию стихотворения о назначении поэтического искусства.

4—6. Судя по содержанию, написаны после возвращения поэта в Осетию из Петербурга в 1885 г. № 5—6 были запрещены цензурой к публикации в «Ирон фандыре».

9. Вероятное время написания — годы первой ссылки поэта (1891—1896).

12. Посвящено памяти грузинского общественного деятеля Кипиани Михаила Зааловича (1833—1891). Он был популярен среди горской интеллигенции, так как сочувственно относился к обездоленным горцам Кавказа; Кипиани — автор книги о безземелии горцев («От Казбека до Эльбруса. Путевые заметки о нагорной полосе Терской области», Владикавказ, 1884). Умер 2 марта 1891 г.; свое стихотворение Коста написал 3 марта и прочитал его 4 марта при прощании владикавказского общества с покойным, гроб с телом которого отбывал на погребение в Тбилиси. Образ, созданный поэтом, имеет более общий, программный смысл, чем реальная деятельность Кипиани.

18. Первоначальным вариантом произведения является стихотворение «В бурю», написанное на русском языке.

20—22. Эти стихотворения посвящены Анне Александровне Цаликовой (1874—1914); она адресат многих произведений поэта, как осетинских, так и русских. Анна Цаликова — образованная для своего времени и среды женщина — окончила Владикавказскую гимназию, долгое время преподавала. Сохранился ее портрет работы Коста Хетагурова. Поэт был дружен со всей семьей Цаликовых: с отцом Александром Ивановичем и его тремя дочерьми — Юлианой, Еленой и младшей Анной, которую Коста любил и несколько раз сватал. Старшие сестры Цаликовы оставили воспоминания о поэте, бережно хранили переписку с ним до самой передачи ее в архив научно-исследовательского института Северной Осетии. «Прощай!» написано после первой размолвки с Анной Цаликовой в марте 1891 г. В письме к ней от 6 декабря 1898 г. Коста вспоминает: «Вы помните, как политично выселил меня во Владикавказе из вашего дома один наш общий приятель. «Давно мне „уходи“ твой взор говорит» и т. д., — обращался я к Вам в своем прощальном «Харзбон» («Прощай») за день до ухода. . . . Затем я был выслан из Владикавказа. . .» (Собр. соч., т. 5, с. 46—47). «Пропади!» написано, судя по содержанию, в первой половине 1894 г., когда Коста узнал о помолвке А. Цаликовой с М. Дзахсоровым. В том же письме выше рассказывается о самочувствии поэта в ставропольский период его

жизни и о том, как на него подействовало известие о помолвке: «Вскоре я узнал, что вы невеста. Это событие вызвало ряд стихотворений самых разноречивых, не чуждых горечи и даже озлобления. . . Упоминать о них не стоит. . .» (Собр. соч., т. 5, с. 49). Под эту характеристику из всех стихотворений больше всего подходит «Пропади!»

Отдел второй

Все произведения этого отдела созданы на основе народных притч и пословиц, песен, сказок и обрядовых текстов. Три басни («Ворона и лисица», «Волк и журавль», «Гуси») восходят к сюжетам одноименных басен И. А. Крылова.

23. В основу произведения положена песня о Всати. *Семерых на круче* и т. д. Этот текст — народная хоровая песенка, которую Коста использовал как цитату.

24. В стихотворении описывается обряд посвящения коня умершему, обряд этот сохранился до наших дней. Текст его не каноничен, он свободно варьируется. В обработке Коста получил и ясную социальную направленность как в самом отборе «преступлений и наказаний», так и в описании людей, совершающих обряд, и в характеристике умершего горца. *Десница* — правая рука.

29. *Спасли наши предки От гибели Рим*. Согласно преданию, гуси, дремавшие на городских стенах Рима, встревожились при внезапном появлении неприятельского войска. Своими криками птицы вовремя оповестили римлян об опасности и тем спасли город от захвата.

35. Источник произведения — осетинская сказка о бедняке и черте. В этой сказке аналогичное же состязание между героями в смысленности и остроумии, но у Коста антагонистом бедняка-пастуха является его хозяин, ввиду чего произведение поэта получило четкую социальную направленность. Имя *Циклопа* использовано здесь не случайно: Циклоп (греч. миф.) — одноглазый великан; как рассказывается в гомеровской «Одиссее», питался мясом овец, которых разводил на своем острове; Одиссею и его спутникам удалось обмануть Циклопа и убежать из его пещеры, где они были обречены на съедение кровожадному чудовищу.

Отдел третий

Стихотворения, составляющие этот отдел, поэт имел намерение издать отдельной книжкой под названием «Мой подарок осетинским детям», но это оказалось невозможным, и он включил их в «Ирон Фандыр» в качестве самостоятельного раздела. В него на осетинском языке входят также переводные стихотворения: первые две

строфы «Двух воронов» Пушкина, «Летний дождь» А. Н. Майкова, «Пойманная птичка» А. У. Порецкого, русская детская песенка «Петушок».

Дополнения к сборнику «Ирон Фандыр»

47. Написано под влиянием одной из песен, входящих в состав «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова (глава «Доброе время — добрые песни»).

49. Написано, вероятно, во второй половине 1898 г., так как 22 августа 1899 г. Коста писал Ю. А. Цаликовой о стихотворении как о произведении, известном и адресату письма: «Если владикавказская молодежь обо мне сложила такую же песню, какую я сложил о Хоранове, то убегу к Каханову в Туркестан или же останусь в Херсоне» (Собр. соч., т. 5, с. 163). Цаликова жила в Пятигорске, Коста виделся с ней во второй половине 1898-го и в самом начале 1899 г. и, видимо, в этот период читал ей свое стихотворение. Его адресат — Хоранов Созрыко (1841—1939), прослужил в царской армии пятьдесят лет (1861—1911), после чего вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта; был во враждебных отношениях с поэтом; в стихотворении разоблачается как прислужник кавказской администрации.

50. Адресат не установлен. Стихотворение обращено к деятелю, ушедшему из жизни, но продолжающему жить своими делами в потомстве («Твоя жизнь и ныне равна ста жизням»). Адресат для поэта великий авторитет в искусстве слова и явно не горец. В последних строках («Большую башню ты воздвиг»), очевидно, отзвук известного стиха Пушкина в «Памятнике». Все это наводит на мысль, что стихотворение написано к столетию со дня рождения Пушкина. Прочитать его Коста нигде не мог — 26 мая 1899 г. он отбыл на место своей второй ссылки, в Херсон. Видимо, текст стихотворения был передан издателю «Ирон фандыра» Гаппо Баеву, который и поместил его в последующие издания книги.

52. Возможно, написано в конце 1898 г. В письме к А. А. Цаликовой от 6 декабря 1898 г. впервые и единственный раз поэт говорит о том, что искать в его время человеческое счастье — безумие: «Мое горе — горе совсем особого рода: общественно-социальное мое положение настолько «шатко», что всякая попытка связать с своею судьбою судьбу другого живого мыслящего существа — „безумие“» (Собр. соч., т. 5, с. 52).

ПОЭМА

57. Незавершенный эпический кадаг (т. е. сказание, песнь). Работу над произведением поэт начал в херсонской ссылке в 1899 г. Он долго трудился над ним, но так и не успел закончить. В письме

к двоюродному брату А. Л. Хетагурову из Херсона от 1 сентября 1899 г. Коста сообщал: «Написал я около 300 строк „Кадаг о Хетаге“. Выходит очень характерно!» (Собр. соч., т. 5, с. 175). Это было начало поэмы, наиболее отделанная ее часть, которая и помещена в настоящем издании.

II

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАВИСАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

58. Посвящено Половой Анне Яковлевне (ум. 1940), возлюбленной поэта, с которой он находился в переписке до 1901 г. По ее воспоминаниям, именно об этом стихотворении говорит Коста в письме к ней от 21 мая 1886 г.: «Прилагаемое к письму стихотворение прошу хранить до тех пор, пока Вы не захотите сгладить из своей памяти воспоминание о злосчастном знакомом незнакомце» (Собр. соч., т. 5, с. 11).

59. По свидетельству А. Я. Поповой (см. примеч. 58), стихотворение написано по поводу ее выезда из Владикавказа в Гори, к родственникам. Родители Поповой, вопреки желанию дочери, отправили ее в Закавказье, разлучив таким образом с Коста, которого она любила всю свою долгую жизнь. Неуверенность датировки (1887, 1889 или 1891 г.) объясняется тем, что к воспоминаниям о поэте Попова обратилась в преклонном возрасте.

60. *Миклуха-Маклай* Н. Н. (1846—1888) — русский путешественник и ученый, антрополог и этнограф. *Фемида* (греч. миф.) — богиня правосудия, часто изображалась с повязкой на глазах и с весами в руке; оба предмета — эмблемы неизменного беспристрастия богини. *Зерцало* — символ правосудия, треугольная призма, которая выставлялась во всех присутственных местах. На трех плоских сторонах призмы воспроизводились выдержки из указов Петра I об охране гражданских прав, судебном разбирательстве и др. постановлений.

61. *Турлучная изба* — изба, стены которой представляют собой обычный плетень, обмазанный с обеих сторон глиной, перемешанной с мякиной или соломой.

62. Первоначально являлось одной из трех частей стихотворения «За заставой» (№ 61). Ритмический строй стихотворения подсказан «Размышлениями у парадного подъезда» Некрасова. *Клир* — хор певчих в церкви. *Голгофа* — гора вблизи Иерусалима (ныне в черте города), на которой, по преданию, был распят Христос; в переносном значении — место страдания и казни.

63. *Попова* А. Я. — см. примеч. 58.

66. Стихи 1 и 5 — неточные цитаты из стихотворения Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...» (1868).

67. Обращено, видимо, к А. Я. Поповой (см. примеч. 58), что подтверждается ее пометами на экземпляре книги, подаренном ей поэтом.

68. В первой публикации озаглавлено: «На смерть „боссовика“». О чьей судьбе говорится в стихотворении, неизвестно.

69. По свидетельству А. Я. Поповой (см. примеч. 58), посвящено ей.

70. *Голгофа* — см. примеч. 62.

71. Написано ко дню открытия памятника Лермонтову в Пятигорске. В первой публикации («Казбек», 1899, 26 мая) между строфами 1 и 2 были след. стихи:

Не свободы былой — зла, насилья и слез,
Разрушенья, расправы жестокой, —
Нет! Свободы труда, поэтических грез
И любви бескорыстной, высокой.

72. Как явствует из воспоминаний врача К. Топуридзе, куплеты были написаны поэтом для антрепренера Каширина, «который просил Коста, чтобы он выручил его, Каширина, из беды. Беда... заключалась в том, что через два дня, перед началом великого поста, Каширин должен закрыть театральный сезон, а для дивертисмента прощального спектакля у него нет стихов — куплетов на злобу дня... Он убедительно просил Хетагурова написать их... Часть этих куплетов я до сих пор помню, так как после мы их часто распевали» (см.: Коста Хетагуров, Собр. соч. в трех томах, т. 1, М., 1974, с. 317). *Мытарь* — сборщик пошлины за продажу товаров.

73. *Бабич* Александр Григорьевич — владикавказский художник; во владикавказский период своей жизни поэт был дружен с ним. Написано во время пребывания Коста летом 1890 г. во владикавказском госпитале.

74. *Шредерс* Варвара Григорьевна (1852—1902) — учительница, основательница публичной библиотеки в г. Владикавказе; была в теплых дружеских отношениях с Коста до конца своих дней.

75. Посвящено *сестре* поэта Ольге Левановне Хетагуровой-Кайтмазовой (1863—1906). В письме к А. А. Цаликовой от 14 декабря 1899 г. Коста заметил: «Сегодня, копаясь в старых тетрадях, я набрел на стихотворение, написанное во владикавказском госпитале

в 1890 г. Оно довольно характерно, а потому посылаю его «для сведения». . . Дай бог Вам и Вашим близким этого никогда не переживать» (Собр. соч., т. 5, с. 245). *Возможно ль ужиться при этом контрасте Характеров, целей, забот?* Несходство характеров и большие возрастные различия между членами семьи Левана Хетагурова вносили в их взаимоотношения напряженность. Ольга была дочерью от второй жены Левана Хетагурова Кизмиды Сухневой.

76. Написано, видимо, во время пребывания поэта во владикавказском госпитале летом 1890 г. или чуть позже, но не позднее 1890 г.

77. *Кипиани* М. З. — см. примеч. 12.

78. В письме к А. А. Цаликовой от 6 декабря 1898 г. Коста общался, что стихотворение создано после ухода его из дома Цаликовых, у которых он квартировал: «„Один, опять один, без призрака родного“, — с отчаянным рыданием вырвалось из груди моей, когда я, как сумасшедший, метался всю первую ночь в своей новой квартире у Червинской. Затем я был выслан из Владикавказа» (Собр. соч., т. 5, с. 47).

80—81. Адресат не установлен. Из упоминаемых в тексте лиц известен только *Ислам* Крымшамхалов, карачаевский поэт.

82. В письме к А. А. Цаликовой от 6 декабря 1898 г. Коста упоминает это стихотворение в числе других, написанных в Карачае в 1892 г.: «Попал в тущобы Карачаевских гор, на серебро-свинцовый рудник. . . «Бестрепетно, гордо стоит на откосе Джук-тур круторогий в застывших снегах», — старался я передать свое чувство, действительно, как тур, скитаясь по неприступным скалам центрального Карачая. . .» (Собр. соч., т. 5, с. 47). *Шат* — название горы Эльбрус в русской поэтической традиции. См. у Лермонтова в стихотворении «Спор»: «У Казбека с Шат-горою Был великий спор».

87—88. Адресат не установлен.

89. «*Любите ближнего, как самого себя*». Подразумевается одна из заповедей Христа, излагаемых в Евангелии. «*Слава в вышних богу!*» — начальные слова православного церковного гимна.

92. *Неверов* Януарий Михайлович (1810—1893) — деятель народного просвещения. В молодости входил в кружок Н. В. Станкевича (1813—1840) вместе с В. Г. Беллинским, И. П. Ключишковым, В. И. Красовым, В. П. Боткиным, К. С. Аксаковым, М. А. Бакуниным и др. Был дружен также с Т. Н. Грановским. Позднее долгое время работал на Кавказе, был директором Ставропольской гимназии, попечителем Кавказского учебного округа (в годы, когда Коста учился в Ставропольской гимназии). Коста действительно «знал его». Родственник и верный друг поэта А. Л. Хетагуров пишет в своих воспоминаниях: «Помню, в какой восторг привел он (Коста) чтением предобеденной и послеобеденной молитв добрейшего Неверова, попечителя Кавказского учебного округа, приехавшего в Ставрополь и присутствовавшего на обеде гимназистов. Он подозвал

Коста, спросил его фамилию и очень хвалил» (см.: Коста Хетагуров, Собр. соч. в трёх томах, М., 1974, с. 318). Неверов придерживался демократических и гуманистических взглядов в своей общественной и педагогической деятельности, он многое сделал для просвещения горцев Кавказа.

93. Написано в связи с кончиной поэта-демократа *Плещеева* Алексея Николаевича (1825—1893), в молодости поплатившегося ссылкой за участие в революционном кружке М. В. Петрашевского.

94. Обращено к А. Я. Поповой (см. примеч. 58). Стихи «К чему ж мы лишили возможного счастья Цветущую юность свою» приводятся в письме к ней от 10 апреля 1893 г., в котором поэт предлагает ей «незапятнанную совесть, честное имя, любящее сердце и трудовую жизнь...» (Собр. соч., т. 5, с. 20).

95. Написано по поводу кончины П. И. *Чайковского* (1840—1893). На концерте, посвященном памяти композитора в Ставрополе, поэт выступил с речью о Чайковском и в заключение прочитал свое стихотворение. Сцена была украшена портретом композитора работы Хетагурова, но портрет не сохранился. Последние два стиха — неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона: «Не говорите мне: «Он умер». Он живет!...» (1886).

96. В письме к А. А. Цаликовой (см. примеч. 20) от 6 декабря 1898 г. Коста сообщает: «„Я не пророк, — заявил я гордо с непоколебимой верой в святость принятой мною на себя миссии. — В бесплодную пустыню я не бегу от клеветы и зла“... „Весь мир — мой храм, любовь — моя святыня, вселенная — отечество мое!“ — закончил я стихотворение (для сборника цензура это не пропустила)» (Собр. соч., т. 5, с. 48).

101. *Стогны* — здесь: широкие улицы. «*Ванька*» — кличка извозчика.

102. *Осанна* — молитвенный возглас. По библейской легенде, этим возгласом встречали Христа при входе его в Иерусалим.

105. По свидетельству поэта, написано после того, как он узнал о помолвке А. А. Цаликовой (см. примеч. 22) с Дзахсоровым (см.: Собр. соч., т. 5, с. 49).

107. Написано в связи с празднованием в Ставрополе сорокалетия первой постановки комедии А. Н. *Островского* (1823—1886) «Бедность — не порок». Перед началом спектакля поэт в присутствии актеров в гримах и костюмах прочитал свое стихотворение. В заметке, оповещавшей о подготовке к этой дате, указывалось, что на сцене будет «бюст А. Н. Островского работы К. Л. Хетагурова» (см. «Северный Кавказ», 1894, 23 января), но он не сохранился.

109—110. Обращены, видимо, к А. А. Цаликовой (см. примеч. 20).

111. *Страстная неделя* — седьмая неделя великого поста, непосредственно предшествующая празднику Пасхи. *Голгофа* — см. примеч. 62.

113. Написано к столетию со дня рождения А. С. Грибоедова (1795—1829). 4 января 1895 г. в Ставрополе Коста участвовал на вечере, посвященном этой памятной дате, произнес речь о жизни и творчестве Грибоедова и в заключение прочитал свое стихотворение.

115. Обращено к А. А. Цаликовой (см. примеч. 20). В письме к ней от 6 декабря 1898 г. Коста отмечает: «„Не верь, что я забыл родные наши горы“, — вырвалось опять из моей пылавшей груди. И Вы, кажется, отлично поняли, к кому относилось это стихотворение» (Собр. соч., т. 5, с. 49).

116. См. об этом стихотворении вступ. статью, с. 31—32. *Ведь два тысячелетия*. Поэт имеет в виду новое летосчисление «от рождения Христова».

117. Посвящено памяти *Шумафа* (Шумахо) Гацукука *Тутаюка*, ставропольского знакомого поэта, бывшего, как и он, воспитанником Ставропольской гимназии, позднее служившего присяжным поверенным.

118. Написано накануне второй операции, которую перенес поэт в Александровской больнице в Петербурге.

119. В. Г. *Шредерс* — см. примеч. 74.

120. Обращено к А. А. Цаликовой (см. примеч. 20). Написано, видимо, в апреле — мае 1899 г., перед выездом поэта во вторую ссылку в Херсон, о чем говорят стихи: «что-то высшее, безмерно дорогое Теряю навсегда с моим изгнанием я».

121. *Цаликов* Угалук — знакомый поэт.

122. Отклик на начало англо-бурской войны. Как истинный демократ, Коста горячо сочувствовал бурам в их самоотверженном и стойком сопротивлении английскому империализму, стремившемуся превратить в колонию две бурские республики: *Трансвааль* и *Оранжевое свободное государство*. *Витя* — родственник Цаликовых (см. примеч. 20).

123. Незавершенное стихотворение, написанное в херсонской ссылке.

125. Написано, видимо, в херсонской ссылке.

127. Адресат не установлен. В первой публикации стихотворение имело загл. «Вдали от родины». Видимо, написано в херсонской ссылке.

130. Акростих, посвященный Крек Елене Федоровне, знакомой поэта. Сохранился ее портрет работы Коста.

131. *Страстная неделя* — см. примеч. 111.

132. Написано к 60-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова.

134. Печ. по рукописи, хранящейся в литературном архиве Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Во всех изданиях со времени первой публикации печаталась только первая строфа стихотворения, в данном издании приводится полный текст.

135. Посвящено матери поэта, которую он не помнил. По рассказам родных и близких Коста создал ее живописный портрет (в картине «За водой»), и внешне сходство, по свидетельству очевидцев, оказалось поразительным.

139. *А. А. Цаликова* — см. примеч. 20.

140. По-видимому, обращено к *А. А. Цаликовой*.

142. Адресат не установлен.

143. Адресат не установлен. *Первозванный Андрей* — по библейской легенде, один из двенадцати апостолов Христа; первый пошел след Христу по его возвращении из пустыни, отсюда и прозвище: Первозванный.

144. От человека, носившего имя *Хетаг*, по преданию, ведет начало род Хетагуровых. *Куртатинская долина* — долина реки Фийгадон в Северной Осетии. На равнине у выхода из устья долины по сию пору сохранилась роща вековых деревьев, называемая в народе Хетагово урочище, в котором будто бы укрылся Хетаг от своих преследователей на пути из Кубани в современную Осетию. Коста так рассказывает об этом в этнографическом очерке «Особа»: «Хетаг, по уверению его потомков, был младшим сыном князя Инала, жившего за Кубанью, на притоке последней — Большом Зеленчуке. Приняв христианство, Хетаг бежал от преследования своих братьев в горную Осетию... Место первоначального пребывания Хетага в теперешней Осетии до сих пор считается святыней. Это совершенно обособленная великолепная роща с многовековыми гигантами на Куртатинской долине. Эта «куща Хетага», как гласит народное предание, по зову Хетага выделилась от леса и укрыла его от преследования шайки кабардинских разбойников» (Собр. соч., т. 4, с. 315—316).

145. *Вальпургьевых ночей*. По старинным германским поверьям, Вальпургиева ночь — праздник ведьм на горе Броккен в ночь на 1 мая. На основе этих поверий написана известная сценка в «Фаусте» Гете (ч. I, сцена 21).

ПОЭМЫ, НАПИСАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

146. Текст первой публикации «Фатимы» в газете «Северный Кавказ» (1889, 16, 19, 23 марта) представлял собой раннюю редакцию поэмы. Она имела подзаг. «Кавказская повесть под аккомпанемент балалайки». Каждая ее глава предварялась лирическим вступлением. При публикации поэмы в «Стихотворениях» (1895) автор исключил эти вступления. О характере их дает представление эпитог, как и лирические «заставки», написанный другим размером стиха (трех, четырехстопным анапестом) и в подчеркнуто реалистической манере. В сборнике 1895 г. была значительно переработана и чисто повествовательная часть произведения. Посвящение к поэме — акrostих («Аня, иди за мной»), обращенный, по свидетельству А. Я. Поповой (см. примеч. 58), к ней и написанный 5 мая 1887 г. Это подтверждается письмом поэта к Ю. А. Цаликовой от 5 июля 1899 г. Гл. 3. *Из «тура»* — из турьего рога.

147. Первая публикация поэмы состоялась в газете «Северный Кавказ» (1893, 10 июня). В сборнике «Стихотворения» текст пострадал от цензурных изъятий. Имя героя *Эски* означает: разбойник. *Шляпа полстяная* — из валяной шерсти, войлочная.

148. Свое «подражание» поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Коста Хетагуров вначале печатал отрывками в газете «Северный Кавказ» (в марте — апреле 1893 и 1894 гг.). На публикацию последних фрагментов произведения был наложен запрет цензуры. Попытка автора включить поэму в сборник «Стихотворения» (1895) также не имела успеха. Запрещение распространялось теперь и на уже опубликованные части, которые и были представлены в цензуру. По-видимому, крамольный смысл произведения более резко выступил после сведения отрывков в единый связный текст. На решение цензуры, возможно, повлиял и вольнолюбивый пафос ряда других стихотворений сборника 1895 г., в контексте которого «Кому живется весело» должно было прозвучать с особой остротой. Большинство персонажей поэмы имеют своих прототипов; раскрыты из них следующие. *Семен Людоедов* — Каханов Семен Васильевич, генерал-лейтенант, начальник Терской области (о его зловещей роли в биографии поэта см. во вступ. статье, с. 9 и 11). *Голубятников* — начальник Владикавказского округа, полковник Голубов Кузьма Пантелеймонович. *Подлизов* — протоиерей Козьма Гаврилович Токаев. *Иван Зуботычев* — атаман Баталпашинского отдела Братков И. Н. *Максим Лизоблюдов* — редактор неофициальной части газеты «Терские ведомости» Максимов Е. Д., с которым Коста вел резкую полемику в печати. *Рубков* — секретарь Терского областного статисти-

стического комитета и заведующий Терским областным музеем Вертепов Григорий Абрамович. *Яша-юродивый* — журналист Абрамов Яков, враждовавший с поэтом. Седьмой чиновник — *Иван Иванович Хапанцев* — скорее всего собирательный образ, равно как и упоминаемые в поэме *Фомка Конокрадов* и кабатчики *Бурсаков* и *Дурманов*.

Три радужных. Радужная — бытовое наименование сторублевой ассигнации. *В минуту жизни трудную* — цитата из стихотворения Лермонтова «Молитва», начинающегося этой строкой. «*Калехи*» — искаженное слово «коллеги». *Мышиные жеребчики*. Выражение восходит к «Мертвым душам» Гоголя (гл. 8), где о Чичикове сказано: «Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам». Но в данном случае Коста скорее всего отправлялся от некрасовской сатиры «Балет»:

Накрахмаленный денди и щеголь
(То есть купчик, кутила и мот)
И мышиный жеребчик (как Гоголь
Молодящихся старцев зовет).

Субтильный — тонкий, ловкий; здесь: интимный, потаенный. *Бонтоный* — хорошего тона. *Плодами просвещения Объелись мужики*. Обыгрывается название драмы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» (1889—1890). «*Ведомости мерзкие*» — газета «Терские ведомости», официальный орган Терской администрации. *Письмами из-за моря Ты кинул грязью в общество* и т. д. Намек на статью Е. Максимова-Слобожанина «Петербургские письма о Северном Кавказе», опубликованную в «Терских ведомостях» в 1893 г. *Надвинул шапку на брови* — петочная цитата из стихотворения Лермонтова «Спор». *Понять, как вавилоняне, Друга друга не могли*. Подразумевается библейская легенда о том, как бог наказал дерзких строителей огромной башни, тщившихся добраться по ней до самого неба; бог разрушил башню и смешал язык вавилонян, которые перестали понимать друг друга (отсюда выражение: «вавилонское столпотворение»). *По весям* — по деревьям.

149. «*Се человек*» — слова Понтия Пилата (см. ниже) об Иисусе, когда он увидел его измученного, с терновым венком на голове. *Кедрон* — название долины и реки неподалеку от Иерусалима. *Гетсиманский сад* — сад на берегу Кедрона, где, по евангельской легенде, был схвачен Христос. *Хитон* — одежда древних греков, род рубахи без рукавов. *Симон* — очевидно, Симеон Кананит, апостол; под этим именем в Евангелии упоминается также апостол Петр, один из ближайших к Христу учеников. *Равви* (древнеевр.) — почетный титул в Иудее, означающий: учитель, наставник; так называли Христа его ученики. *Претория* — административное здание, местопребывание претора — должностного лица, осуществлявшего выс-

шую судебную власть и охрану порядка в провинциях Древнего Рима. *Пилат Понтий* — римский наместник (прокуратор) в Иудее и Сирии; согласно легенде, нехотя уступил требованиям народа и повосвященников, жаждавших распять Христа. *Осанна* — см. примеч. 102.

150. Поэма осталась незавершенной. Время работы над ней не известно, но, судя по вступительным стихам, она писалась в изгнании («Друзья... Вдали от вас часы изгнания Ползут лениво, как века»), т. е. в период первой или второй ссылки автора. Сюжет поэмы далее развивается так: «ясновидец» Мами предлагает народу принести человеческую жертву богу, чтобы умиловить его. Жребий падает на внука старейшины Сабана. Мальчика бросают в костер, вслед за ним кидается в огонь и мать ребенка, и оба погибают. Увидев такую трагедию, возмущенный народ растерзал Мами и бросил его труп «на съедение псам», а потом все ушли в глубь гор, оставив свое намерение воздвигать башню «на этом проклятом месте». Скала, на которой сгорели мать и сын, треснула у основания, и из расщелины потекла родниковая вода. Народ окрестил ее родником «материнских слез». *Казбек незыблемый в лазури Над ним алмазами сверкал*. Перифраз стихов из лермонтовского «Демона».

СЛОВАРЬ

- Абаз* — двадцатикопеечная монета.
Абрек — разбойник.
Авсург — крылатый конь в мифах и сказках осетин.
Адай — название горы в Северной Осетии.
Адат — свод правил у мусульманских народов Кавказа, регламентирующих поведение человека в частном и общественном быту.
Алагир — во времена Коста Хетагурова село на берегах р. Ардон; ныне город в Северной Осетии.
Аланы — скифско-сарматские племена, далекие предки осетин.
Аларды — в осетинской мифологии божество, распространяющее оспу; в старину пели специальную песню, чтобы задобрить Аларды и отвести болезнь от детей.
Алдар — феодальный владетель.
А-лол-лай! — припев в осетинских колыбельных песнях, вроде «баюшки-баю».
Альчики — детская игра в кости (обычно употребляется косточка из коленного сустава барана).
Арак (арака) — ячменная водка.
Арджинараг — название местности в Северной Осетии, буквально: теснина Арга.
Арчита — зимняя обувь в горах Осетии; шьется из цельного куска воловьей кожи, набивается сухим мятликом или соломой перед тем, как надеть на ноги.
- Барастыр* — владыка загробного мира в осетинской мифологии.
Башил (басыл) — новогоднее печенье, по форме напоминающее лунный серп.
Башлык — головной убор, обычно род капюшона с длинными концами.
Бешимет — горская рубашка со стоячим воротником, надевается под черкеску.
Бламык — каша из овсяной, ячменной или кукурузной муки грубого помола с добавлением кваса.

Всати — дух-покровитель нехищных зверей; охотники молили его «наделить их скотом», т. е. просили удачной охоты.

Гуниб — село в высокогорной Аварии, последняя резиденция Шамиля.

Дададай — песенка лирического содержания: поется преимущественно молодыми людьми, мелодия устойчива, текст импровизируется свободно.

Дауги — духи-покровители из сонма младших божеств в осетинской мифологии, обитающие на земле в отличие от небожителей.

Дигория — географический район в Северной Осетии; дигорец — житель этого района, говорящий на своем диалекте.

Духан — сельский кабачок или лавочка с продажей вина.

Задын — хлеб из ячменной или пшеничной муки с солодом, который придает ему сладковатый вкус.

Ир — Осетия, осетинский народ; ирон — осетин.

Калак — буквально: город; так осетины называли город Тбилиси.

Кош — пастушеское жилище в горах, на пастбище.

Кровник — человек, находящийся в отношениях кровной мести с какой-либо семьей, родом.

Кунацкая — помещение для приема гостей (от слова «кунак», означающего: гость, друг).

Курдалагон — в мифологии осетин и в нартском эпосе бог-кузнец, подобный Гефесту у древних греков.

Наиб — военный и духовный правитель области в имамате Шамиля.

Намаз — молитвенный обряд у мусульман.

Нарт — сонм героев-богатырей в монументальном эпосе кавказских народов (осетин, адыгейцев, кабардинцев и др.), называемом нартским (или нартским).

Нихас — место сбора мужчин в осетинском селе; ровное место.

Симд — осетинский народный массовый танец.

Сулак — река в Дагестане.

Сунжа — приток Терека.

Сырдон — персонаж нартского эпоса, жестоко мстивший героям-нартам за обиды своими злокозненными советами, но нередко и выручавший их хитростью и находчивостью.

Табу — хвала, слава; употребляется только при обращении к богам.

Таубши — буквально: горские владетели; одна из категорий знатных лиц у народов Северного Кавказа.

Тахтаул-чалган — поселок при Хумаринских (см.) рудниках.

Терк-турк — мифическая страна в сказках и сказаниях осетин.

Уарайда — припев в осетинских народных песнях.

Уастырджи — бог-покровитель мужчин (путников, воинов, охотников); женщины называют его не по имени, а «божеством мужчин».

Уздень — лицо из феодального дворянства Кабарды, Осетии и Дагестана.

Урызмаг — положительный герой нартского эпоса.

Фандыр — осетинский музыкальный инструмент (род скрипки).

Хадзаронта — хозяйева.

Хомыс — кушанье, приготовляемое из ячменной муки и мелко искрошенного сыра.

Хумаринцы — жители поселка Хумары в Карачае.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Фотография начала 1890-х годов.
- 2—3. *Между с. 128 и 129*. Коста Хетагуров — студент Петербургской Академии художеств. Фотография 1882 г.
На обороте: Фотография 1893 г.
- 4—5. *Между с. 160 и 161*. Фотография 1895 г.
На обороте: Фотография середины 1890-х гг.
- 6—7. *С. 211 и 215*. Страницы автографа поэмы «Фатима» (Рукописный отдел Северо-Осетинского Научно-исследовательского института).

СОДЕРЖАНИЕ

Коста Хетагуров. Вступительная статья Нафи Джусойты 5

I

«ИРОН ФЛАНДЫР»

Отдел первый

1. Завещание. Перевод П. Панченко	51
2. Раздумье. Перевод А. Шпирта	51
3. Надежда. Перевод Б. Иринина	52
4. Взгляни! Перевод П. Панченко	53
5. Горе. Перевод А. Гулуева	54
6. Тревога. Перевод М. Исаковского	55
7. О, если бы! Перевод В. Корчагина	55
8. Желание. Перевод С. Олендера	56
9. В разлуке. Перевод П. Панченко	56
10. Без пастуха. Перевод Б. Серебрякова	57
11. Знаю. Перевод М. Исаковского	57
12. У гроба. Перевод М. Исаковского	58
13. Спой! Перевод А. Шпирта	58
14. Песня бедняка. Перевод В. Корчагина	59
15. Сердце бедняка. Перевод Б. Брика	59
16. Солдат. Перевод С. Олендера	60
17. А-лол-лай! . . . Перевод С. Олендера	61
18. Мать сирот. Перевод Б. Иринина	62
19. Кубады. Перевод П. Панченко	64
20. Кто ты? Перевод А. Ахматовой	67
21. Прощай! Перевод Дм. Кедрина	75
22. Пропади! Перевод П. Панченко	76

Отдел второй

23. Всаги. Перевод А. Шпирта	78
24. На кладбище. Перевод Н. Заболоцкого	81
25. Безумный пастух. Перевод С. Липкина	88
26. Редька и мед. Перевод А. Шпирта	89
27. Ворона и лисица. Перевод С. Олендера	90
28. Волк и журавль. Перевод С. Олендера	91
29. Гуси. Перевод С. Олендера	93
30. Олень и еж. Перевод А. Шпирта	95
31. Постник. Перевод П. Панченко	95
32. Привычка. Перевод Б. Брика	96
33. Лиса и барсук. Перевод С. Олендера	98
34. Мужчина или женщина? Перевод Дм. Кедрина	99
35. В пастухах. Сказка. Перевод Б. Иренина	100

Отдел третий

36. Киска. Перевод А. Шпирта	104
37. Шалун. Перевод А. Шпирта	105
38. Школьник. Перевод А. Шпирта	105
39. Кому что. Перевод Н. Ушакова	105
40. Будь мужчиной. Перевод А. Шпирта	106
41. Синица. Перевод Н. Ушакова	106
42. Ласточка. Перевод П. Семьицина	107
43. Весна. Перевод Н. Тихонова	107
44. Лето. Перевод Б. Брика	107
45. Осень. Перевод Н. Тихонова	108
46. Зима. Перевод Б. Брика	108

Дополнения к книге «Ирон Фандыр»

47. «Если бы пел я, как нарт вдохновенный...» Перевод С. Олендера	109
48. Походная песня. Перевод С. Олендера	109
49. Прислужник. Перевод Н. Тихонова	109
50. Привет («Не дал нам счастья бог! Оковы...») Перевод С. Олендера	111
51. Упрек. Перевод С. Олендера	111
52. О чем? Перевод С. Олендера	112
53. Тоска влюбленного. Перевод В. Корчагина	112
54. Дума жениха. Перевод С. Олендера	113
55. В новогоднюю ночь. Перевод А. Шпирта	113
56. Новогодняя песня. Перевод П. Панченко	114

ПОЭМА

57. Хетаг. Сказание. Перевод П. Панченко и А. Шпирта	115
--	-----

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
НАПИСАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

58. Да, я уж стар.	127
59. «Высокий барский дом. . . подъезд с гербом старинным. . .»	128
60. Владикавказ	129
61. За заставой	137
62. Праздничное утро, или Мысли, вызываемые звоном к за- утрене	138
63. А. Я. П(оповой)	139
64. Новый год	139
65. Последняя встреча	140
66. На смерть горянки	141
67. Прости	141
68. На свежей могиле	142
69. «Да, я люблю ее, но не позорной страстью. . .»	143
70. На «bis»	144
71. Перед памятником	145
72. «Спою вам куплеты. . .»	145
73. А. Г. Б(абичу)	148
74. В. Г. Ш(редерс) («Дождусь ли я счастливой встречи. . .»)	148
75. Сестре	149
76. Завещание	150
77. На смерть М. З. Кипиани	151
78. «Один, опять один, без призрака родного. . .»	152
79. На новый 1892 год	152
80. Е. Е. Н.	154
81. Сине и Миле Б.	155
82. Джук-тур	156
83. «Если встреча с тобой, дорогое дитя. . .»	157
84. «Да, встретились напрасно мы с тобою. . .»	157
85. Музе	158
86. «Вот когда перестану дышать. . .»	159
87. «Над нами плыл месяц и звезды мерцали. . .»	159
88. «Мне нравится, мой друг, что ты глядишь пытливо. . .»	160
89. «Не упрекай меня, что я забросил лиру. . .»	161
90. «Когда тебя, мой друг. . .»	161
91. Поэту	162
92. Памяти Я. М. Неверова. (<i>Попечитель Кавказского учебного округа</i>)	162
93. Памяти А. Н. Плещеева	163
94. «Умру я, и что же? Слезюю участия. . .»	164
95. Памяти П. И. Чайковского	164
96. «Я не пророк. . . В безлюдную пустыню. . .»	165
97. «Не спрашивай — ты не поймешь, родная. . .»	166
98. «Я не поэт. . . Обошленный мечтою. . .»	167

99.	«Не упрекай! Судьбу винить не надо...»	167
100.	«Смерть близка — я это знаю...»	168
101.	Чердак	169
102.	Толпа	171
103.	«Опять к тебе, любимая подруга...»	172
104.	«Не сможешь ты горю слезами...»	173
105.	«О чем жалеть?.. Больным дыханьем бури...»	174
106.	«Расстаться не трудно, не трудно убить...»	174
107.	Памяти А. Н. Островского	175
108.	Под Новый год	176
109.	«Ты вправе смеяться. Бессильный, больной...»	176
110.	«Я сделал всё... За призраками счастья...»	177
111.	Страстная неделя («Ночь великих испытаний...»)	178
112.	Привет («Устал... поблекли силы...»)	179
113.	Памяти А. С. Грибоедова	180
114.	Босяк	180
115.	«Не верь, что я забыл родные наши горы...»	181
116.	«Волшебной сказкою, свободным измышленьем...»	182
117.	На смерть Шумафа Тутаюка	183
118.	Перед операцией	183
119.	В. Г. Ш(редерс) («В этой сумрачной столице...»)	184
120.	Предчувствие	185
121.	У. Ц(аликову)	185
122.	Вите	186
123.	«Здесь, над самым морем...»	186
124.	Весна	186
125.	Этюд	187
126.	Другу	187
127.	В решительную минуту	188
128.	Ночлег	189
129.	Друзьям-приятелям и всем, кто надоедает мне слезоточивыми советами	190
130.	Условное предложение	192
131.	Страстная неделя («В эти мрачные дни, в эти скорбные ночи...»)	192
132.	Памяти М. Ю. Лермонтова	193
133.	«Я смерти не боюсь, — холодный мрак могилы...»	193
134.	Зигзаги мысли в бессонницу	193
135.	«Нет, тебя уж никто не заменит...»	194
136.	Песнь раба	194
137.	Песня («Где ликующего мая...»)	195
138.	Портрет	195
139.	А. А. Ц(аликовой)	196
140.	Порыв	196
141.	«Свой отъезд волшебной сказкой...»	196
142.	Комплимент	197
143.	Со днем ангела	197
144.	Хетаг (<i>Начало никогда не имеющей быть оконченной поэмы</i>)	197
145.	Поэту-мечтателю	198

**ПОЭМЫ,
НАПИСАННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

146. Фатима. <i>Кавказская повесть</i>	199
147. Перед судом	235
148. Кому живется весело (<i>Подражание Н. А. Некрасову</i>)	241
149. «Се человек»	274
150. Плачущая скала. <i>Осетинская легенда</i>	282
Примечания	291
Словарь	308
К иллюстрациям	311

Хетагуров Коста

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

- Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1976,
320 стр. План выпуска 1976 г. № 371
Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *И. Г. Клейнер*

Сдано в набор 3/III 1976 г. Подписано
в печать 20/V 1976 г. М 19125. Бума-
га 84×108^{1/32} № 1. Печ. л. 10,0+3 вкл. (17,11).
Уч.-изд. л. 15,99. Тираж 30 000 экз. За-
каз № 326. Цена 88 коп.

Изд-во «Советский писатель». Ленинград-
ское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградская типография № 5 Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли.
Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

88 K.